Вячеслав Шишков

Сибириада

Емельян Пугачев

Сибириада

Вячеслав Шишков

Емельян Пугачев. Книга третья

«ВЕЧЕ»
1935–1945

Шишков В. Я.

Емельян Пугачев. Книга третья / В. Я. Шишков — «ВЕЧЕ», 1935–1945 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4444-8740-2

Третья книга завершает знаменитую историческую эпопею. Крестьянская война 1773–1775 годов постепенно сходит на нет, войска мятежников терпят одно поражение за другим, царское окружение торжествует, над головой Пугачева уже занесен топор палача… Роман «Емельян Пугачев», основанный на многолетнем изучении архивных документов, явился крупным вкладом в развитие советского исторического жанра и был удостоен в 1946 году Государственной премии СССР.

ISBN 978-5-4444-8740-2

© Шишков В. Я., 1935–1945
© ВЕЧЕ, 1935–1945

Содержание

Часть первая 6
Глава I. Город Ржев. Долгополов собирается в опасный путь. Москва, перелески, лес 6
1 6
2 10
3 13
4 16
5 18
6 23
Глава II. Месть муллы. Падуров и другие. Конец Яицкого городка. Полудержавный властелин 28
1 28
2 33
3 36
4 41
5 44
Глава III. Пугачев на Воскресенском заводе 49
1 49
2 54
3 58
4 59
5 65
Глава IV. Встреча Белобородова и Пугачева. Крепость Троицкая. Девочка Акулечка. Подполковник Михельсон 74
1 74
2 81
Конец ознакомительного фрагмента. 83

Вячеслав Шишков
Емельян Пугачев
Книга третья

© Шишков В.Я., наследники, 2017
© ООО «Издательство „Вече“», 2017
© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2017
Сайт издательства www.veche.ru

Часть первая

Глава I. Город Ржев. Долгополов собирается в опасный путь. Москва, перелески, лес

1

Ржев – городишко торговый, довольно бойкий и промышленный.

Еще с начала века, при Петре I, был Ржев не в хорошей у правительства славе как гнездо потаенного раскольничества и всякого рода противностей, продерзостей.

К числу раскольников принадлежал и состоятельный ржевский купец Остафий, Трифонов сын, Долгополов. Он изворотлив, тароват, гонял баржи с хлебом и со всякими товарами, вообще вел крупную торговлю, одно время был откупщиком, что приносило ему большие выгоды. Часто наведывался в Питер, доставлял овес для царских конюшен и, по своей необычайной пронырливости, имел даже беседу в Ораниенбауме с самим Петром Федоровичем, наследником престола.

Как-то сдал Долгополов в Ораниенбауме пятьсот четвертей овса, принимали тот овес Нарышкин и Д.И. Дебресан, денег же Долгополову пока что не дали, сказали: «В следующий приезд уплатим и с процентами». Ну что ж, без долгов не торговать, а за богом молитва, за наследником престола долг не пропадет.

И случилось тут печальное событие: Петр Федорович воцарился и скоропостижно умер. Долгополов скорей в столицу, стал в царской конторе долг просить. Там ответили:

– Ежели у тебя расписки нет, так и не получишь ничего. Много тут вашей братии по смерти государя за долгами ходят.

Погоревал Долгополов и ни с чем возвратился восвояси…

Да уж, полно, не тот ли это Остафий Трифоныч, что, приехав в Петербург, сидел в день похорон Петра III в трактире «Зеленая дубрава» и, помнится, вместе с трактирщиком Барышниковым да придворным мясником Хряповым правили поминки по усопшем императоре? Да, он самый… Но то было давно, в 1762 году, с того времени одиннадцать лет прошло, мясник Хряпов разорился и подвизается где-то на полях Пугачевского восстания, Барышников же разбогател чрезмерно, из трактирщиков знатным стал помещиком. Вот что с людьми делает время… Однако Долгополов о судьбе бывших своих знакомцев не знал ни сном, ни духом, да и не до знакомых было человеку! Счастье изменило Долгополову. Он разорился, за неплатеж по векселям дважды в тюрьме сидел, вел темные торговые делишки, жил на каверзах, на мелких плутнях, купцы презирали его, но иные все же о нем думали: «Вывернется, не таковский, хапнет где-нито».

Сам Долгополов также не терял надежды на милость божию, вынюхивал, высматривал, как бы хитрого перехитрить, как бы ротозею за пазуху скакнуть. От скользких дум в ночи подушка под его головой вертелась.

И вот ударил час…

В зиму 1773 года шел Остафий Трифоныч по базару, хотелось березовых веников для бани расстараться, и нагоняет его кум, и отводит его в сторону, и с уха на ухо говорит ему:

– Слыхал, кум, про дела-то про великие? Будто под Оренбургом государь объявился, Петр Федорыч III.

Сухонький, невысокого роста, Долгополов отпрянул от кума, лицо выразило страх и удивление.

– Да что ты, кум, очнись! – замахал он на кума руками. – Статочное ли дело! Государь наш Петр Федорович умер, я в Невском монастыре не единожды на могиле его молился, ведь на нем семьсот рублев моих долгу числится… Откудов слух идет?

– От народа, от черни.

Домой Остафий Долгополов вернулся будто пьяный. Жене ни слова. После трапезы пошел в божью горенку на ночь помолиться, встал на колени, разбросил коврик маленький, чтобы лбом в грязный пол не колотить, а сам все о кумовых словах думает, и молитва не идет на ум. И только руку с двоеперстием для крестного знаменья занес, как встал в его мыслях – будто бы живой – царь Петр Федорович и улыбнулся, встали знатные бояре Нарышкин с Дебресаном и тоже улыбнулись. «Пользуйся», – сказали они все трое и, словно дым, исчезли. А в углу послышалось явственно, как царские лошади хрупают овес… Чей овес? Его овес, Остафия Долгополова.

«Эге-ге-е», – хитроумно подумал купец, подмигнул божнице с горящею лампадою, да из молельни вон.

И голова у него в огне, метался до самого утра. И тысячи соблазнов раздирали его сердце.

«Здравствуй, батюшка, светлый царь Петр Федорович! А дозвольте вашему величеству счетик предъявить, должок маленький имеется на вас…»

«Господи, вразуми меня, как пред государем речь держать… Скуден я разумом своим, а только клятву тебе приношу, господи: ежели поверстаю долг, тебе свечку превеликую, попу ризу, а бедному люду целый рубль раздам».

Лютая трясовица напала на Остафия Трифоновича, а сверх нее – необоримая икота. Утром он обратился к мягкотелой, кругленькой жене, Домине Федуловне:

– Ну, баба, слушай со смирением и рюмы распускать чтобы ни-ни… Иначе сорву чепец, косу намотаю на руку. Отправляюсь я, баба глупая, в незадолге в Москву, засим во город во Казань, повезу туда красок, сказывают, там красок нетути, большую корысть чрез то можно поиметь. Сбирай меня в путь-дорогу, баба моя милая, покорливая…

Домина Федуловна сморщилась вся, захныкала, губки сковородничком, а плакать страшно. Вздохнув, сказала:

– Я воле твоей, государь Остафий Трифоныч, не перечу. Езжай, ни-то, благословлясь… Ау… – и с тем отошла горько постенать в молеленку.

А втапоры жил-проживал во Ржеве великий открыватель, достославный химик и механик и на все руки искусный мастер Терентий Иванович Волосков. Сын беднейшего часовщика, благодаря неусыпным трудам своим он был зажиточен и славен.

Вот к нему-то и направился хитрый купец Остафий Долгополов. Купцу всего сорок пять лет, а на вид можно дать и шестьдесят. Небольшой, щупловатый, в длинном раскольничьем кафтане, шел он, чуть прихрамывая (мозоли на ногах), крадущейся кошачьей походкой; на сухощеком, в рябинах, личике крупный нос, безбровые прищуренные глазки, да кой-какая бороденка с проседью, личико в постоянной плутовской улыбке с подхалимцем, и глазки туда-сюда виляют остренькими щупальцами, будто купчик хочет вымолвить: «Ой, пожалуй, не трожьте вы меня, приятели… Я раб божий, тихо-смирно существую на земле. Ну, а ежели кто в мои лапки попадется – объегорю». Шапка, не по голове большая, рысья, на плечах лежит. Костромские рукавицы желтой кожи, с преизрядной вышивкой. Широкий кушак, темный иссиня, с кистями.

Знатный морозец был, из труб дым столбом, жаренной на конопляном масле рыбой пахло.

Шел купец, покряхтывал.

Дом достославного механика Волоскова стоял подле Волги, при овраге, – длинный, приземистый, крашенный в красную краску под кирпич, семь окон на улицу, да мезонинчик в три окна. Двор большой, надворная постройка справная, воздух пахнет скипидаром, щелоком и всякой дрянью, как в красильне. Люди ходят, их руки, лица вымазаны краской.

– Сам-то дома?

– Дома-с. Проверку часов делает. Ежели вы наелись чесноку, не дышите, механизмам вредно. Хи-хи-хи-с…

Отворил дверь, обшитую рогожей с войлоком, – сердито блок заскорготал, кирпич на веревочке поднялся – в кухне толстобокая стряпуха двумя пятернями голову скребет; проследовал в прихожую – пусто, козлиным голоском почтительно прикрякнул.

– Кто там? Шагайте сюда, ни-то…

Батюшки мои, светы батюшки! Горница о четырех окнах, и чего-чего в ней не понатыркано: станки, ременные проводы, колесья, верстаки. А хламу разного во всех углах: железа, жести, меди, обрубков деревянных – горы… А вот и человек с толстой книжицей в руках. Высокий, в пестрединном балахоне, длинные, в скобку волосы, густая борода, нос горбатый, пальцы желтые, продубленные крепкой кислотой, а черные глаза глядят со вниманием и строгостью.

Долгополов покрестился на иконы, разинул рот, левую руку на сердце положил, правую елико возможно вытянул и, согнувшись пополам в поясном поклоне хозяину, коснулся концами пальцев половицы.

– Здоров будь, Терентий Иваныч, со всеми чадами и домочадцами твоими во веки веков, аминь!..

– И ты здоров будь, Остафий Трифоныч, – мужественным голосом ответствовал хозяин. – С чем пожаловать изволил? Похвального любопытства ради али по делам?

– По делам, по делам, Терентий Иваныч-свет, – расправляя спину и прилизывая, будто кот, ладонями лысоватую голову свою, вкрадчивым голоском ответил гость. – Уж мне ли, неразумному, при худобе моей пытать механику твою премудрую… Темен-бо умишком своим малым.

– Сие смирение зело похвально, но не основательно, – и хозяин ввел гостя в соседнюю горницу, штукатуренные стены коей, а равно и потолок были расписаны знаками зодиака и затейными картинками.

– Батюшки, пушка! – удивленно, с беззубым пришепетом прошлепал губами гость, ткнул перстом в медную стоявшую на треноге махину.

– Вот и ошибся, гость дорогой, – заулыбался хозяин, – это зрительная труба суть плод моего художества, чрез нее можно наблюдение иметь за ходом и природой тел небесных, сиречь можно улавливать природу в самом действии ее работы, а сие едино и поучает и забавляет. Да вот беда, стекла дюже плохи, нет прозрачности, и трещины кой-где идут. И горюшко мое, нет способа дознаться, как добрые стекла лить.

– Да-да-да, да-да-да, – прищелкивал языком, кивал головою, льстиво улыбался Долгополов. – О, господи, твоя воля… до чего доходит ум людской, до какой премудрости! А я к тебе, друг, за советом…

Хозяин хмуро взглянул на гостя, как на глупого барана, и подвел к знаменитым, своего изобретения, часам:

– Уж не взыщи, все покажу тебе, в чем жизнь моя течет. Вот – часы. Я положил на них много лет, чуть умом не тронулся, больше недели без памяти лежал. Но одолел, одолел! Время покорил. Законы заключил в медь и камень. Зри…

– Да, да, добре строенные, пречудно… – Плюгавенький Долгополов, нагнув голову, смотрел исподлобья снизу вверх не столько на часы, сколько в рот с горячностью говорившего сорокалетнего бородача.

На крепком дубовом столе помещались в виде небольшого шкапика знаменитые часы Терентия Волоскова. Футляр красного дерева прост, изящен, отделан по бокам и по фронтону желтой медью, в середине – главный циферблат, по углам – четыре дополнительных. Они указывают ход солнца, фазы луны, год, месяц, число и исчисление церковного календаря.

– Особенного зраку нет в них, – без всякой любви, скорей с неприязнью к своему детищу, сказал, вздохнув, хозяин. – Пусть часы мои заслуживают почтение не пышным нарядом, а внутренней добротностью. В них в совокупности охвачено все, что соединено в природе неразрывной связью. – Бледное умное лицо хозяина приняло печальное выражение, на возбужденных глазах показались слезы, он снова вздохнул и, опустив голову, сел на скамью. – Эхма… Вот бьешься, бьешься… Ни науки не знаешь, ничего. Да и откуда знать? Дыра здесь. Ни людей, ни умного духу не слыхать… Ну, кому нужны эти часы, кому? Простолюдину они ни к чему. У помещика же труд даровой, пошто ему время знать? Вот и стоят часы мои, как чудо. Разве что знатный вельможа, может статься, забредет в мою келию да купит в кунсткамеру свою на погляденье людям…

– Дозволь тебя, Терентий Иваныч, спросить, – прервал хозяина заскучавший гость. – Слых в народе идет, будто бы объявился в Оренбурге государь Петр Федорыч III.

– Нет, не слыхивал, – с суровостью ответил хозяин. – Да подобной глупости и слухать не хочу… А вот принес мне весточку ученый один знатец. Будто бы англичанин Гаррисон изобрел морские часы с цилиндрическим спуском, они полтора года в море плавали, в зыбь и бурю, и уклонились от истинного времени токмо на полторы минуты. Вот это часы!.. От адмиралтейства Гаррисон премию зело великую заполучил…

– Оный разговор для меня вещь недоуменная. Терентий Иванович… Уж не обидься, пожалуй, – прошамкал гость. – Ведь я насчет красочки к тебе, насчет кармину…

– Пойдем, – встал хозяин и ввел гостя в третью горенку с книжными шкапами. – Эта храмина вивлиофика называется. Мысль мудрецов мира сего заключена в письмена, письмена в листы, листы в переплет, сиречь в книгу, книги же заключены в шкапы. А вкупе все – по-гречески – вивлиофика…

– Господи, господи… – причмокивая губами и закатывая глазки, воскликнул гость. – Каких же капиталов тебе стоит эта премудрость… Сколько овса на эти денежки можно закупить, да муки, да ситцев с сукнами, какие великие обороты можно делать… Эх, бить тебя некому, Терентий Иваныч, уж ты прости меня, пожалуй, не серчай…

– Бить? – нахмурился хозяин, и по его бледному лицу дрожь прошла. Гость попятился и замигал. – Меня и так жизнь бьет изрядно… Вся душа избита невниманием… Многие знатные люди перебывали у меня – и графы, и губернаторы, и чиновники всех рангов. Насулят-насулят и ни с чем уедут. Только насмеются в душе беспримерному упорству моему над махиной сложнейшей, но никому не надобной. А окажи мне государственные люди вниманье да помощь, эх, что бы было, каких бы громких делов я натворил, каких бы затей навыдумывал на пользу отечества… А здесь… Знаешь что, знаешь что, гость любезный? Здесь даже поговаривали, особливо попы наши, чернокнижием-де занимается Волосков, планеты небесные-де рассматривает. О прошлом годе науськали мужиков на базаре бить меня… Ну, пойдем из сада мудрости, чую – это не по плечу тебе…

– Ах, верно, друг, ах, верно… Истинно сад мудрости… – обрадованно загнусил, зашамкал Остафий Долгополов и, юрко протянув руку к лежавшему на столе немецкому гаечному ключу, незаметно сунул его на ходу в карман свой. – Ах, ах! Ну, до чего речи твои мудрые, до чего пресладок глас твой…

Они вышли из покоев, пересекли двор; барбосы, виляя хвостами, залаяли на чужака, хозяин и гость вошли в избушку возле бани, маленькую красочную фабричку.

– Отец мой, царство ему небесное, был, как тебе ведомо, часовщиком, искусству от немцев обучен, и жил он в скудной бедности. Нешто часами в сем городишке проживешь! И стал он яркие краски выделывать – кармин да бакан. Только краски, надо прямо сказать, были плоховаты у отца. А тут, сам знаешь, армия наша зело возросла, сукна для обмундирования занадобилась бездна, на краски страшный спрос. Ну вот, значит, как возмужал я, начал с красочным делом возиться, сорт улучшать…

– Терентий Иваныч, свет, одолжи ты мне, бога для, кармину да бакану своего. Еду я в Казань-город, тамо-ка, сказывают, в красках великая нужда, вот поеду, продам с барышом и денежки тебе доставлю, свет, с поклоном низким… А нет, лисьих мехов в орде куплю… Уж я не обману, я человек верный, кого хошь спроси.

Хозяин знал, что слава про Долгополова идет худая: прощелыжник, жох, но по мягкому нраву своему не смог отказать купцу:

– Ладно, краски дам, ни-то. (Долгополов косорото осклабился – рот до ушей, бороденка уперлась в левое плечо.) А кармин у меня добрецкий, можно сказать – на всю Россию знаменитый, пробу посылал в Санкт-Петербург, в Академию художеств, постановлено признать кармин Терентия Волоскова «зело отличным и пригодным для изображения на картинах багрянца и малинового бархата с отливом», так и в грамоте на сей счет прописано. Да и на фабриках для ситцепечатания, для сукон кармин мой в ход пошел, заказов не оберибери! – Волосков выпрямился, гордо откинул голову. – В сем звании красочных дел мастера служу государству и промышленности нашей… и сим горжусь…

– Исполать тебе, свет Терентий Иваныч! – вновь отвесил ему купец поясной поклон.

Льстивостью, нахрапцем Долгополов сумел выклянчить у хозяина два изрядных тюрючка красок и сто рублей наличными деньгами.

2

Мороз крепчал. На базаре крик, гам, толчея. Долгополова за полы хватают, всяк рвет покупателя к себе:

– А вот поросеночек, а вот!..

Купил Долгополов живого поросенка, взвалил в мешке на загорбок и посеменил мелкими шажками к воеводе. «Первеющее дело – пашпорт. А ну как не даст?..»

Воевода Ржева-города всем воеводам воевода, секунд-майор Сергей Онуфриевич Сухожилии, а по прозванью Таракан. Такое от народа прозвище он получил не зря и вовсе не за свою наружность, а по причине практичного, во благо градожителей, ума. Но об этом замечательном событии мы своевременно читателей оповестим.

Воевода Сухожилин-Таракан – сын полка, он в армии Елизаветы дослужился до сержанта, а по хлопотам проживавшей во Ржеве княгини Хилковой был произведен в офицерский чин и назначен ржевским воеводой. Несет он бремя службы вот уже двадцать лет, сначала был корпусом строен, затем стал богатеть, толстеть. Сначала ходил бритым, в парике, затем, махнув рукой на приказ, отпустил бородищу и лохматые волосы, как у кержака. Нрав у воеводы крутой, горячий, глаза завидущие, руки загребущие, да к тому же и добрым разумом не наделил его господь, водились за ним такие фокусы, что – ах! Но милостию божией, доброхотным заступлением престарелой княгини Хилковой, а наипаче через взятку златом, снедью и чем попало, воевода Таракан всякий раз выходил из-под суда бел и чист, аки снег блистающий. Слава тебе, господин, и тебе, княгиня, и вам, продажные суды, продажные души, великая слава и честь во веки веков. Аминь.

Мороз за щеки хватает, поросенок визжит, купец покряхтывает. А вот и богатый каменный воеводский дом. У ворот в полосатой будке дремлет будочник с алебардой на плече, возле его ног рыжая шавочка по-сердитому пошавкивает.

– Песик, песик, на! – с опаской оглядываясь на собачку, купец юркнул во двор, сдал поросеночка на кухне с низким поклоном воеводихе, сам – в канцелярию.

Пусто, столы заляпаны чернилами, гусиные перья разбросаны, пол в плевках, в рваных бумажонках. На воеводском, под красным сукном, столе – петровских времен зерцало, пропыленные дела, на делах разомлевший кот дремлет, над столом в золоченой раме ее величество висит, через плечо генеральская лента со звездой, расчудесными глазами весело на Долгополова взирает.

Нет никого, в открытую дверь мужественный храп несется, надо быть, сам воевода после сытой снеди дрыхнет. Долгополов топнул, кашлянул. Храпит начальство. Долгополов двинул ногой табуретку, двинул стол, барашком крикнул:

– Здравия желаю! Это я…

Храп сразу лопнул, воевода замычал, застонал, сплюнул и мерзопакостно изволил обругаться:

– Эй, писчик! Ты что, сволочь, там шумишь, спать не даешь? Рыло разобью!

– Это я, отец воевода, – загнусавил высоким голосом Остафий Трифонович, – раб твой худородный, купчишка Долгополов челом тебе бить пришел. Не прогневайся, выйди, отец-благодетель…

В доме жара, от печей горячий воздух тек, обрюзгший большебрюхий воевода выплыл из покоев в подштанниках, в расстегнутой рубахе, босой. Волосы всклочены, борода лохмата, глаза бараньи, губы толстые. За окном сумерки, в канцелярии серый полумрак.

– Ты чего, дьявол, стучишь? – крикнул воевода. – Ах, это ты, Долгополов? Я думал – подканцелярист… Пошто поздно? Присутствие закрыто ведь, – воевода рыгнул, перекрестил рот, почесал брюхо, сел за стол. – Что скажешь?

– Ой, отец воевода. Сергей Онуфрич, до твоей милости я, пашпорт хочу исхлопотать, хочу в Москву да в Казань-город ехать по спешным делам моим.

– Эй, дай-ко-те квасу мне! – опять крикнул воевода и пожевал пересохшими губами. Потом прищурился на Долгополова, державшего под пазухой два тюрючка с красками, подумал: «Прощелыжник… Давно бы тебя, прощелыжника, надобно в кнуты взять, в тюрьме сгноить… Ишь ты, тюрючки. Мне люди добрые мешками носят». И воевода, отдуваясь, прохрипел: – Пашпорт тебе надобен? В Москву? В Казань?

– Так точно, милостивец, – переступил Долгополов мозольными ногами и благопристойно покашлял в горсть.

Воевода вдруг заорал:

– Марья! Квасу! – и стукнул жирным кулачищем по столешнице.

Спавший на столе кот в испуге вскочил, хищно прижал уши, хозяин сшиб его на пол, а купчик рыбкой нырнул в кухню, принес деревянный жбан и кружку белого фаянса. Воевода окатил душу холодненьким, перевел дух и сказал:

– Нет, не будет тебе пашпорта. Ты весь век свой шляешься, не сидится тебе на месте-то… Ты хлюст порядочный…

Долгополов сунул тюрючки на скамейку, всплеснул руками и, скосоротившись, повалился на колени:

– Милостивец, батюшка! Не губи, выдай… Самонужнейшие дела у меня в Казани.

– С пустыми руками к воеводе не ходят. Нет, не дам…

– Я твоей супруге поросеночка живенького принес. Сосунок. К Рождеству Христову выкормишь.

– Поросеночка? Сам ешь. Не больно корыстен поросенок твой. Ступай с богом, не дам.

– Батюшка, воевода пречестной! – взмолился Долгополов, – Я ныне человек разорившийся, панкрут, сам изволишь знать… А в дороге чаю дела поправить, может, паки богатым стану, паки откуп в Питере сниму, золотом засыплю тебя, отец.

– Ты на посуле, как на стуле… Знаю тебя, хлюст ты… Ступай!

Воевода встал и ушел в покои, захлопнув дверь.

Долгополов покачал сокрушенно головой, вышел ни с чем на улицу. Сумерки сгущались. На западе широкая заря стояла. На желтом небе, как на золоте, синели маковки церквей и колоколен. Будочник, взгромоздившись на приставленную к столбу лестницу, оправлял фонарь, подливая в него конопляное масло. На мрачно прошагавшего Долгополова рыжая шавочка пошавкивала. На душе у Долгополова кошки скребут. Ну да ничего, он этого воеводу-хабарника еще уломает.

– А ну-ка, стукнусь к Твердозадову, авось еще не дрыхнет, авось деньжат с него сдерну; без деньжат куда пойдешь, – вслух подумал опечаленный Остафий Трифонович.

Купец Абросим Твердозадов канатную фабричку имел, почитался в больших тыщах, недавно кирпичную церковь старообрядцам пожертвовал, но был груб, суров и на руку дюже ерзок. Во Ржеве до пятнадцати таких канатных заведений, купцы делали из конопли веревки самым незатейливым способом, а в работных людях у них городская голытьба да оброчные крестьяне.

Подошел Долгополов к кирпичному двухэтажному дому. Над дубовыми воротами крест восьмиконечный врезан, под ним – медный складень. Постучал в калитку, спросил дворника:

– Сам-то дома?

– Дома. Токмо ной у него в поясах, спину пересекло, кажись, лежит.

По блоку злющий кобель на цепи взад-вперед сигал и люто лез на оробевшего купца. Творя молитву от укусов песьих, Долгополов – на черное крыльцо, дернул в кухню дверь – не подается, дернул со всей сипы – плохо заложенный крючок слетел, дверь разом распахнулась. Долгополова обдало паром, как из бани. Он шагнул в кухню и, чтоб тепла не упустить, захлопнул за собой дверь. Два сальных огарка сквозь пар чадят. Опершись о печку руками, согнув широкую красную спину (бородатую с плешью голову вниз), стоял голый человечище, хозяин Абросим Силыч Твердозадов, а его дородная красавица жена, тоже голая по пояс, в какой-то коротенькой юбчонке, со всем усердием и с молитвенным от немощи причетом растирала редькой поясницу супруга своего. Голый человечище кряхтел, охал, жалостно постанывал.

И лишь захлопнул вошедший Долгополов за собой дверь, вспугнутая хозяйка с визгом: «Ой-ой, кто это такое вперся?» – бросилась в покои, голый же человечище, не меняя положения, только обернул бородатый лик свой в сторону вошедшего и сипло закричал:

– Дворник, ты? Эк тебя, дьявола, прости меня, господи, черти-то носят. Никак, крюк в двери сорвал. Пошел, стерва, вон!..

– Не извольте беспокоиться, Абросим Силыч. Это не дворник, а самолично я, Долгополов Остафий…

– Ты? Пошто ты, тварь, не в показанное время лезешь, пошто двери чужие ломаешь, аки тать? Тут женщина в нагом естестве, а он, собака…

– Я, Абросим Силыч, видит бог, защурившись стоял и наготы вашей супруги не приметил, – врал Долгополов, отлично зная, сколь ревнив был Твердозадов к красавице жене своей. – Я, Абросим Силыч, в простоте душевной деньжонок у вас попризанять насмелился-с… Дозарезу нужны, Абросим Силыч… Погибаю-с, – пел елейным голосочком Долгополов.

Забыв про поясницу, ревнивый муж вгорячах быстро распрямился, от резкой боли застонал и, шагнув к попятившемуся Долгополову, весь затрясся в злобе;

– Тебе… денег… Тьфу!.. Ты, мошенник, чуть в трубу меня не выпустил. Плут ты, по тебе давно тюрьма плачет… Уйди, зелье лихое, пока я те щелоком морды не ошпарил!

Долгополов схватился за дверную скобку;

– Не извольте гневаться, Абросим Силыч. Уж ежели я мошенник да плут, так вы вдвое…

Великан хозяин молниеносно сгреб ухват, замахнулся им на Долгополова, пинком ноги вышиб его за дверь и, выскочив вслед за ним, орал:

– Митька! Ивашка!.. Спускай собак… Трави его, асмодея!

Впереверт кувыркаясь с лестницы, заполошно орал и Долгополов:

– Постой, постой, длиннобородый черт! Я те покажу, как честных людей увечить… Я самому воеводе жалобу подам! Он те бороду-то рыжую убавит…

– Чихал я на твоего воеводу-дурака! Жулик твой воевода, крохобор. Ивашка, черт, чего смотришь? Дуй его!

И Твердозадов, опять заохав, скрылся в кухню, а дворник схватил Долгополова за шиворот и поволок со двора, как волк барана.

3

На другой день мрачный Остафий Трифонович, похлебав толокна с квасом, снова направился в воеводскую канцелярию. Скучала поясница, побаливала голова от вчерашней затрещины. Подьячий в медных больших очках, писчик и два подкопииста, поскрипывая гусиными перьями, строчили бумаги. Кот сидел на полке с законами, умывался лапой, зазывал гостей. Воеводы не было. По случаю рождественского поста он говел, еще из церкви не приехал. Долгополов вышел на улицу, ждал у ворот, вел беседу с будочником.

– Идет, идет такой слушок, – охрипшим голосом говорил бударь, для сугрева переминаясь с ноги на ногу, – токмо я сему веры не даю, ни боже мой! Может ли такое статься, чтобы из мертвых царь воскрес? Ни боже мой! Вчерась двоих пьяных загребли в кабаке за язычок, маленько попытали батожьем острастки ради, да с пьяного чего возьмешь…

Подкатил воевода с бубенцами. Прохожие, сдернув с голов шапки, низко кланялись начальству. Долгополов подхватил воеводу под ручку, подсобил из саней выпростаться, на крыльцо взойти.

– Не дам, не дам, – бормотал воевода, обдирая сосульки с густых усов. – За пашпортом? Не дам…

– Я, отец-воевода, с жалобой к твоей милости пришел. Дай защиту…

– С жалобой? На кого показываешь?

– На ирода и разбойника, на Аброську Твердозадова.

– Ась, ась? – И воевода, чтоб лучше слышать, отогнул стоявший кибиткой лисий воротник. – На кого? На Аброську Твердозадова? Давай-давай его сюда… Он предо мной шапки не ломает, его гордыня заела. Он, подлец, на меня в Тверь жалобу писал… Он вроде тебя – хлюст, а нет, так и погаже… Давай-давай… В чем обвиняешь? Шагай за мной…

Воевода стал веселым, суетливым, сказал:

– Обожди, пожалуй, в канцелярии, я чайку испью. Приобщался сегодня я…

Через час в канцелярии появился воевода в кургузом мундире и при шпаге. Все вскочили, бросили перья, с низким, подобострастным поклоном гулко прокричали:

– С принятием святых таинств поздравляем, васкородие! Имеем честь!

– Спасибо, ребята… Долгополов! Показывай, в чем дело. Иван Парфентьич, садись сюда, пиши.

Долгополов и подьячий подошли к красному столу. Подьячий, гусиное перо за ухом, сел, разложил пред собой голубовато-серые листы бумаги, протер концом скатерти очки, откашлялся. Писчики, водя вхолостую перьями и притворяясь, что усердно пишут, навострили уши. Долгополов гундосым голосом стал давать показания, стараясь обелить себя и во всем обвиноватить Твердозадова.

– …Тут он, аспид, сверзил меня с лестницы и начал всячески поносить твою милость, отец-воевода, непотребной бранью…

– Какими словесами?

– Срамно вымолвить. Не точию словом произносить, но и писать зело гнусно и мерзко, сиречь такие словеса, ажно язык мой прильпне к гортани моея… Боюсь.

– Ну, молви, молви смело, не опасайся… А нет – и тебе, хлюст путаный, кнуты будут. – И бараньи глаза воеводы омрачились.

– Господин воевода! Лучше допроси дворника евонного, Ивашку. Он, смерд, слышал хозяйскую хулу на твою милость… Вели сыскать его. Да и Аброську Твердозадова зови…

– Писчик! – крикнул воевода. – Пошли солдата за Ивашкой.

Вскоре привели в канцелярию Ивашку. Это – широкоплечий, приземистый парень, лет двадцати пяти, кудрявый, без бороды и без усов. Глаза злые, губы толстые. Он – сирота, крепостной господ Сабуровых, числился на оброке, подрядился, по письменному договору, служить три года Твердозадову на его канатной фабричке. И, как водится, попал в большую кабалу: помещик вскоре запродал его еще на два года и половину денег за его службу забрал вперед. А служба у купца анафемская. Пробовал Ивашка бежать, но был сыскан, отдан на расправу воеводе. Получив от Твердозадова мзду, воевода самолично избил Ивашку, приказал выдрать его, а после порки водворил бегуна снова в кабалу к купцу. Ивашка озлобился. На своего хозяина, на зажиточных людей и на все начальство глядел лютым зверем.

– А-а, знакомый! – притворно весело, но с затаенной неприязнью воскликнул воевода. И начался допрос.

Ивашка, опасаясь от Твердозадова побоев, запирался:

– Знать не знаю, ведать не ведаю, а чтоб хозяин ругал вашу милость, не слыхивал.

– Ишь, мужик-деревня, голова тетерья! – зашумел на него Долгополов и загрозил перстом. – В запор пошел. А не ты ли меня, волчья сыть, выволок за ворота да кулачищем по загривку? После того разу я смешался, куда бежать…

– Нетути, не видел я вас, – сказал Ивашка, – я втапоры в трепальне обретался, пеньку чесал.

Долгополов хлопнул себя по бедрам, закачал головой и прогнусил, ехидно улыбаясь:

– А-я-яй, а-яй… Подлец какой ты, парень! Побойся бога, пост ведь.

– Выходит, ты не слыхал, как меня хозяин твой честил? – сердито спросил воевода и нахмурился.

– Сказывал, не слыхал, – с грубостью ответил парень.

Воевода ударил в стол и закричал:

– Р-розог сюда!.. Палача сюда! Ребята, вали его на пол, спущай портки!

Три старых солдата брякнули Ивашку на пол, сорвали полушубок, перевернули носом вниз, оголили спину. В красной рубахе косой палач пришел, под пазухой – пучок розог. На ноги Ивашке сел солдат, на шею – другой, а третий солдат крепко держал вытянутые вдоль пола руки парня. Ивашка пыхтел, скрежетал зубами.

– А ну, ожги, – командирским басом приказал воевода, встал, подбоченился, шагнул к Ивашке.

И только палач замахнулся, Ивашка заорал:

– Винюсь! Винюсь!!

Палач недовольно кинул розги, парень встал.

– Сказывай! – крикнул ему воевода. – Иван Парфентьич, записывай за ним.

Глаза Ивашки засверкали, застучала кровь в виски, он подумал: «Эх, была не была, и хозяину и воеводе молебен закачу…» – и, вымещая злобу, с плеча начал поливать начальника:

– А пушил он твою милость вот как: «Этот сукин сын, воевода Таракан самый, – говорит, – из подлецов подлец… Самый христопродавец. Я его знаю, Таракана, подлеца!.. Он чем попало, мол, хабару берет. Весь город ограбил. Народ истязует. Девку, мол, изнасильничал… Каторжник воевода, подлюга, казнокрад… В петлю его, сукина сына, давно пора… Убивец! Вор! Тараканище, этак и этак его растак…»

Поднялся переполох. Воевода размахнулся, подпрыгнул и, ударив парня по шее, сверзил его на пол. Писчики, подкопиисты повскакали с мест.

– Волоки его, волоки! В холодную! Держать, гада, без выпуску, – свирепел воевода. – Гей, люди! Сыскать купца сюда! Твердозадова! Крамола! Смерды головы подъемлют, аки змеи… Эвот под Оренбургом низкая сволочь бунт бунтует. Я вам покажу Петра Федорыча императора! Слава богу, государыня у нас, матушка Екатерина! Сыскать купца!

Парня поволокли вон. Служащие стояли как в оцепенении, тряслись. Лисье личико Долгополова покрылось крупным потом, красными пятнами пошло, а в прищуренных глазах неудержимый смех. Ослабевший от бешенства, толстобрюхий воевода пробирался, словно пьяный, к себе в покои, тяжело переводил дух, хватался за сердце.

– Батюшка, Сергей Онуфрич, – взяла его под руку молодая краснощекая воеводиха, дочь простого посадского человека, – что ж ты, голубчик мой, ради принятия святых таинств в этакий раж вошел: кричишь, ругаешься, людей бьешь… Ой, грех какой, ой, грех какой, право ну. Разденься, ляг, отдохни. Глянь, вздышишь-то, словно рыба на песке. Мотри, кондрашка хватит.

Воевода струсил слов ее, разделся, отдуваясь, выпил квасу, лег в постель. Свалили его поносные выкрики Ивашки. Господи, боже мой, ведь всю правду смерд про воеводу молвил. Христопродавец, взяточник, вор, насильник, казнокрад… Так оно и есть. А как иначе? Вот нагрянет губернаторская ревизия – тут неладно, там неладно, здесь упущение по службе, – всех надо ублаготворить, всякому хапуге-ревизору взятку дать. Вот и приходится с застращенных жителей тянуть… Эх, доля ты служилая!

Вернулись солдаты, доложили подьячему, а подьячий воеводе:

– Повинного пред твоей милостью купца Твердозадова добыть солдаты не доспелись. И сказывали те посланные тобой солдаты, коль скоро-де подошли они к хороминам купца, ворота-де оказались на запоре, а сам винный пред твоей милостью купец шумел-де из-за ворот: у воеводы-де руки коротки тягать промышленных купцов в воеводскую канцелярию, такого-де закона нет, а есть закон тягать оных фабрикантов в мануфактур-коллегию. И по сему-де уходите прочь, иначе псов спущу, работных людей скличу, худо будет! И, шумя так, два выстрела из пистоли в воздух дал. Какое изволишь, воевода государь, распоряженье учинить?

И подьячий поклонился воеводе. Тот, лежа на кровати, помедлил, поохал и слабым голосом сказал:

– Для ради того, как я сей день причащался, а вчерась каялся в грехах самому Христу, кой заповедал нам прощать врагам своим, я данной мне от великой государыни властью того винного предо мной купца Твердозадова на сей раз прощаю. Объяви сие.

– А как прикажешь…

– А того смерда Ивашку, дав ему острастки ради двадцать пять горячих лоз, отпустить домой, мерзавца, с миром.

Когда подьячий на цыпочках вышел, воевода, устремив глаза к образу с лампадкой, переживал в душе светлые минуты христианской добродетели: обидчика простил, парня наказал слегка рукой отеческой и отпустил домой.

– Зарежу воеводу, зарежу воеводу… Вот подохнуть, зарежу, – с остервенением бубнил измордованный Ивашка себе под нос, уходя с воеводского двора.

4

Наступили рождественские праздники. Все учреждения – воеводская канцелярия, суд, земская изба – закрыты на две недели. По старинному обычаю отворились двери тюрьмы, колодники были распущены по домам на подписку и поруки. В неволе остались на праздник только те, которых надлежало держать «неисходно без выпуску».

Загудели колокола, праздничный народ валом повалил в церкви. Затем пошло исстари установленное обжорство, пьянство, плясы. Иные опивались насмерть или в пьяном виде замерзали под забором. По улицам в вечернюю пору разъезжали, шлялись ряженые.

У воеводы, бургомистра, ратмана, именитого купечества шли шумные пиры. Подвыпив, иногда на пирах дрались, вырывали друг другу бороды, били посуду.

Воевода за святки допился до чертиков, его дважды отливали водой, цирюльник пускал кровь ему.

А в день Крещенья, после водосвятия на Волге, как ушел крестный ход, многие стали купаться в иорданской проруби. Поохотился и воевода очистить в святой воде тяжкие прегрешения свои. Он подкатил в расписных санях с коврами. Жена плакала, вопила: «Не пущайте его, люди добрые, не пущайте: он не в себе, утонет!» Воевода рванулся от жены, сбросил шубу на руки рассыльного, сбросил валенки, длинную фланелевую рубаху (больше ничего на нем не было), перекрестился и, загоготав, скакнул, как грузный морж, в прорубь. Зеленая вода взбулькнула, волной выплеснулась на сизый лед. Праздничная толпа зевак захохотала. Выкрикивала:

– Эй, Таракан! Воевода! Город горит!

– Воевода! Тараканы ползут!..

– Поджигай!..

Зажав ноздри и уши, воевода трижды с поспешностью погрузился в святую воду, выскочил, сунул ноги в валенки, накинул шубу, упал в сани:

– Погоняй!

Вдогонку хохот, свист, бегущая орава веселых ребятишек.

– Эй, Таракан, Таракан! – голосили мальчишки.

– Глянь, глянь, Таракан водку хлещет!

Воевода, злобно выкатывая бараньи глаза, грозил кулаком, ругался:

– Гей, стража! Дери их, чертенят, кнутом, – и тянул из фляги романею.

Давно было дело, а народ все еще не может забыть той смешной истории и до сих пор зовет воеводу Тараканом. История же такова. Однажды в летнее время по неосторожному обращению с огнем просвирни Феклы Ларионовой сгорело почти полгорода. После пожара к растерявшемуся воеводе валили кучами разные советчики: старушонки, посадские люди, ворожейники, духовенство, христа ради юродивые, закоренелые старообрядцы, прорицатели – и, предсказывая второй пожар горше первого, давали воеводе разные суеверные советы, один глупей другого. Воевода сшибся с панталыку, а как не густ был разумом, то, избегая брать на себя ответственность, решил подать в Санкт-Петербург запросную бумагу.

> «Рапорт Воеводской канцелярии Сенату.
>
> Сего мая 20 числа на память мученика Фалалея, волею божией половина богоспасаемого града выгорело дотла и с пожитками. А из достальной половины града даже неудержимо ползут тараканы в поле. И, видно, быть и на сию половину города гневу божию. И долго ль, коротко ль, а и оной половине города гореть, что и от старых людей примечено. Того ради Правительствующему Сенату представляю, не благоугодно ли будет

> градожителям пожитки свои выбрать, а оставшуюся половину запалить, дабы не загорелся город не вовремя и пожитки бы все не пожрал пламень».

Этот рапорт в виде курьеза был доложен государыне.

Прочтя оный, Екатерина Алексеевна грустно улыбнулась, потом рассмеялась, потом стала хохотать. Засим помрачнела, изволила взять в ручку карандашик золотой и, поджав губы и сделав ямки на щеках, положила резолюцию:

> «Половина города сгорела, велеть жителям строиться. А впредь тебе, воеводе, не врать и другой половины города не зажигать. Тараканам и старым людям не верить, а дожидаться воли божией»[1].

Так и пошло с тех пор воеводе прозвище – Таракан да Таракан.

Святки в городе, слава богу, завершились. Без душевного, без телесного повреждения остались во Ржеве-городе немногие. В их числе был и знаменитый самоучка Терентий Иванович Волосков. В первый день Рождества, по своему почетному положению, принимал у себя поздравителей, сам ездил с поздравкой, но пил сдержанно, да и то самое слабое вино. На второй день накатилась на него от непривычного безделья зеленая скучища. На третий день изобретатель сутра обложился книгами, с жадностью поглощал рукописные листы перевода «Астрономических лекций шотландского механика Джемса Фергесона» (перевод сделан тоже ржевским жителем – механиком Собакиным), читал евангелие, апокалипсис, библию, стараясь вникнуть в премудрость притчей Соломона. А назавтра собрался сходить в гости к мозговитому купцу Матвею Алексеевичу Чернятину: купец сам измыслил и по своим чертежам сооружал какую-то небывалую механическую кузницу. Ржев славен был одаренными людьми!

Невзирая на свою деловитость, на преданность изобретательским идеям, Терентий Иванович Волосков был одинок душой и по-своему несчастен. Он искренне скорбел неустройством жизни русской, повреждением нравов, торговлей крепостными, как собаками, всеобщей темнотой. И не было такого человека по плечу ему, чтобы разделить с ним тягостные думы.

– Доколе, господи, потерпишь всю мерзость запустения на Руси святой? – жаловался он в пространство. – Кругом бесправие, разбой, прямо сердцу больно. Держава наша, господи, в опасности… Бабий век грядет: не помнящая родства Екатерина[2], две Анны, веселая Елисафет, опять Екатерина. Пышно, суетно живет царица, сразу по пятьдесят тысяч мужиков с землей любовникам своим дарит. Вот где горе земли русской, вот над чем должно зубовно скрежетать и злобные слезы лить! А при высочайшем дворе блеск, горше тьмы, и блуд, горше Вавилона. От этого ослепляющего блеска слепнет всяк, стоящий в блеске, – иноземные послы, русские вельможи и дворяне, – слепнет и уже не видит ничего, что творится в зело просторной стране нашей. Вот я, Терентий Волосков, паки и паки вопрошаю себя: что делать, с чего начать, чем помощь оказать родине своей? Вопрошаю тщетно, и нет ответа, все нет ответа на помыслы мои.

Так мучился сам с собой совестливый самоучка Терентий Иванович Волосков.

И подобных людей большого ума и сердца, несчитанных, незнаемых, было несметное в России множество. Сидели они, как жемчужины в навозе, во ржевах, нижних новгородах, барнаулах, беженках, великих устюгах, в селах, в весях, в тюрьмах, на каторге.

Сильные духом, но беспомощные разъединенностью своей, они даже не ведали друг о друге.

И неустроенная жизнь текла над ними.

---

[1] Рапорт и резолюция Екатерины – подлинны.

[2] Екатерина I, жена Петра Великого.

Жизнь – голодная и мрачная – в низменных пластах деревни; жизнь – блестящая, среди даровой бесчеловечной роскоши – в тоненьком пласте вельможного дворянства; жизнь – расчетливая до полушки, жизнь – грабительская – в гнездах молодой породы: крупных коммерческих дельцов, фабрикантов, именитого купечества, – вся эта неустроенная жизнь, бедная богатством, богатая малограмотными попами, разбойниками при больших дорогах, продажными сенаторами, подкупными судьями, всякой строкой приказной и тому подобными паразитами, сосущими кровь людскую, – эта сумеречная, бесправная жизнь во всей полноте своей и наглой обнаженности текла неспешно над головами людей большого сердца, людей несчитанных, незнаемых.

И вот, несчитанный, незнаемый купец Остафий Долгополов пылко восхотел считанным да славным сделаться, и, того не ведая, из незнаемых он-таки в русскую восемнадцатого века историю попал. С превеликим злоключением, опасностью, страхом – того достиг. А достигнув, не рад был своей жизни.

В конце февраля, после масленичной гульбы с блинами, Остафий Долгополов помчался на ясные очи Петра Федорыча III – в его царские ноги бултыхнуться, должок сквитать, всякие, корысти ради, выгоды себе заполучить…

Знай, ямщик, кого снежными полями мчишь. Легче, ямщичок, на поворотах, громче свищи, удалей песни пой, подстегивай кнутом своих кобылок!

Сани скользом-скользом, снегом голубеющим осыпаны просторы, серебристые посвисты в ушах, колокольчик под дугой выбрякивает заунывную какую-то, тоскливую, тоскующую музыку: «Со святыми упокой душу новопреставленного раба твоего Остафия». Но никто не скажет: в смерть или к преуспеянию жительскому несется смелый Остафий Долгополов.

Остафий Долгополов несется скользом-скользом прямо в пекло, на опасное свиданьице к самому Емельяну Пугачеву.

5

До Москвы Долгополов ехал вполне благополучно. Правда, в пути, по наущению дьявола, были мелкие невзгоды, впрочем сказать, денег за постой он не платил, а при прощаньи объявлял хозяевам, что, мол, правится в Москву за благословением к митрополиту, оттуда же через море-океан во святой град Ерусалим, к святой пасхе, и нет ли, мол, у вас, хозяева, усердия записать ваши имена в «о здравие», чтоб ерусалимский владыка-патриарх помянул их на Голгофе. Ну, известно дело, благочестивые хозяева постоялых дворов с радостью совали купцу деньги на красную свечу ко гробу господню, купец деньги принимал, а святые имена доброхотов вписывал в книжицу свою. Так, не торопясь, и ехал, незаметно прихватывая впопыхах то новые рукавицы, то девичий платок, то старушечьи чулки из толстой шерсти.

Лишь в притрактовом селе Паскудине заминка вышла. Ночевал Долгополов у попа, приветливая матушка накормила его пирогом с солеными груздями да ухой, он в благодарность благовествовал, либо сказывал побаски, утром распрощался по-приятельски и поехал с миром.

И только миновал лесок, глядь-поглядь, нагоняют двое верховых:

– Стой, ворище, стой!

Долгополов вскочил дубом, выхватил у парнишки-ямщика кнут, стал с плеча охаживать лошадок. Однако всадники настигли, рослый дьякон сгреб коренную под уздцы, седовласый плюгавенький попик, исказясь в лице, шумел:

– Ты, тать, мою серебряную лжицу хлебальную украсть спроворил! Грех тебе. Подай хапаное!

Рослый дьякон соскочил с коня, вытряхнул мешок Долгополова, подхватил зазвеневшую увесистую ложку, подал батюшке. Купец пал на колени, сдернул рысью шапку, стал большие кресты класть, стал лбом в землю бухать:

– Богом клянусь, не брал! Подсунул кто-то, не иначе – сатана…

Дьякон загнул Долгополову салазки, в меру потрепал его и, подбив левый глаз, оставил купца лежащим на снегу, в безмолвии.

Затем духовные лица, оба-два с отцом Прокофием, поскакали обратно, радуясь и славя бога.

Остафий же Трифонович, заохав, приподнялся мало, спросил ямщика-парнишку, не закрылся ли, мол, поврежденный глаз, тот ответил: «Не совсем чтобы»; Долгополов, благословясь, встал, вынул из денежной кисы медный сибирский с двумя соболями пятачище, приложил его к опухшему глазу, обвязался белым платком, сел в сани, с горестной ухмылкой взглянул на истоптанное в сугробе место и тяжело вздохнул.

В первопрестольный град Москву прибыл он в середке марта. На окраинах, над Кремлем и за Москвой-рекой по рощам граяли грачи, встречали весну, гнезда вили, Остафий Трифонович то и дело на соборы, на монастыри, на церквушки крестился, аж десная рука устала, аж зазябла голова. Ну и храмов божьих, ну и звону на Москве!

По иным улицам и переулкам, где проезжал купец, особливо на Варварке, многие дома как бы нежилые: двери заколочены, стекла в окнах побиты.

– А это, вишь ты, в третьем годе чума в Москве шалила, поди, слыхал? – пояснил седоку старик-возница. – Ена, чтоб ей лихо было, тьма-тьмущую народу загребла, прямо счету нет.

Долгополов остановился в купеческом подворье, у знакомого купца-раскольника Нила Титова. Посещал Рогожское кладбище[3], в чуму 1771 года отведенное старообрядцами для погребения. В нововыстроенной деревянной часовне собирались многие раскольники-капиталовладельцы. Долгополов старался завязать с ними торговые дела с расплатой векселями, но раскольники, сами жохи, видели Долгополова насквозь, в руки не давались.

Бродил Долгополов по кабакам, трактирам, иногда бывал вполпьяна, а больше притворялся пьяным, вынюхивал, чем дышит народ московский, нельзя ль, мол, из подслушанных речей какую ни есть корысть себе извлечь.

А народ по кабакам собирался разный. Тут тебе и младший повар княгини Уваровой с приезжим из деревни земляком пришли продернуть по стакашку сиводрала. Тут тебе с фиолетовым запойным носом долгогривый монах-бродяга – на груди жестяная кружка с образком, десятый год собирает на сгоревший прошлым летом храм Преполовения в несуществующем селе Крутые Задки – человек бывалый, беспаспортный, битый, не единожды в тюрьме сиживал. Тут и воинственный будочник – угощает его пойманный на барахолке жулик: «Не веди, дяденька, в приказ, пойдем выпьем». У жулика – желтая опухшая рожа, щека подвязана просаленной тряпицей, из-под тряпицы кончик носа и рыжий ус торчат. А больше всего пригородных крестьян в добрых овчинных тулупах, извозчиков и господских челядинцев в цветных камзолах, в сермяжных свитках, в стареньких ливреях. Большой трактир – «распивочно, навынос» – занял нижний этаж каменного дома у Петровских ворот.

Вечер. Чадят под потолком заправленные деревянным маслом два фонаря, на кабацкой стойке сальные свечи; плешивый чахоточный целовальник, послюнив пальцы, то и дело срывает со свечи нагар. Меж грязными столами с пьющей братией шныряют половые – парни в красных рубахах с засученными рукавами, в руках деревянные, а то и железные подносы, на подносах штоф с водкой, стакашки, кучками разложены огурчики, рыжики, рубленое осердие, печенка. Шум, крики:

– Эй, половой! А поджарь мне на три копейки рыбки боговой, салакушки…

---

[3] Впоследствии знаменитый оплот старообрядчества. – *В.Ш.*

– Сбитню, сбитню нацеди погорячей…

– А ну, завари на пробу китайской травки, по-господски желаю!

Долгополов съел целую селедку, рыгнул, брусничного квасу запросил. За одним столиком сидел с ним молодой приказчик богатого купца Серебрякова.

– А где ж твой хозяин торговлю имеет и промышляет чем? – пришепетывая, заговорил с незнакомцем Остафий Трифонович.

– А как же! – встряхнул кудрями шустрый молодец. – Наша лавка на три раствора упомещается в Красных рядах, аккурат насупротив храма Василия Блаженного. Ситцы, сукна, шелк, веревки, хомуты.

– Так-так-так. Веревки?

– А как же! Мы веревки на Волгу продаем, опять же на Макарьевскую ярмарку. Нам веревки ржевские фабриканты поставляют. А как же!

– Так-так-так. Эй, половой! – весело крикнул Долгополов и стал бороденку свою на пальчике крутить. – А ну-ка, друг, спроворь полштофика винца да яишенку на двоих, глазунью. – И обратясь к молодцу: – А знаешь, кто пред тобой сидит? Я пред тобой сижу, ржевский купец Абросим Твердозадов, фабрикант.

Приказчик открыл рот и вытаращил глаза. Долгополову показалось, что малый сомневается в истинности слов его, и, чтоб убедить приказчика, заметил:

– Ты не взирай, голубь, что одежонка скудная на мне, здесь кабак, опасаюсь в сряде-то, обснимают. А в церковь, скажем, я в бобрах хожу, человек я самосильный.

Веснушчатое лицо молодца сразу поглупело, он встал, осклабился, сладким голосом сказал:

– Ах, какая честь… Я даже сести теперича не смею.

– Садись, садись… Молви-ко ты мне, парень хороший, сам-то дома?

– Нету-с, – робко присаживаясь, ответил молодец. – К Троице-Сергию говеть уехали Сила Назарыч-то, грехи повез. И с хозяйкой со своей. И с доченькой, с невестой. Честное слово-с…

– Жаль. Ах, жаль до чего, – пригнул Долгополов голову, по-несчастному уставился глазами в пол. – А я у Силы-то Назарыча хотел товаров красных отобрать, ведь он же у меня веревки-то покупает, сиречь моей выделки… Я в обмен хотел.

– Ах, не извольте печаловаться, господин фабрикант: замест Силы Назарыча его сынок-с, наследник-с… А как же! Пожалуйте к нам в лавку за всяко-просто, я с превеликим усердием потщусь вам добрый товарец подобрать.

– Так-так-так, – радость подкатила к сердцу Долгополова, пронырливые глазки то пропадут в узких щелочках, то выскочат. – Эх, друг… Ведь сам знаешь, я изо Ржева-города-то и не выезжаю николи, не токмо сына, а и самого Силу-то Назарыча в очи не видал. Вот в чем суть. – И Долгополов, слезливо замигав, посморкался в клетчатый платок. – А ты слушай, приятель, удружи мне, потолкуй с молодым хозяи-ном-то: так, мол, и так, фабрикант Твердозадов, мол, приехал в Москву, на пятнадцать тысяч товаров накупил, пеньки, красок, парчи попам на ризы; деньгами, мол, поистрясся, а нуждается, мол, еще в красных товарах… Понял, друг?.. А мы бы с молодым хозяином твоим дело сделали. Я договор подписал бы на постав веревок и вексель выдал бы.

Молодец с готовностью воскликнул:

– Милости просим, вашество, уж я все подлажу, будьте-те без сумнения-с…

– Ну, спасет тя бог, дружище. И я тебя не оставлю. Уж поверь. Ты вот что: ты приезжай во Ржев, я тебя, кудрява голова, на богатый купеческой дочери женю, в люди выйдешь… Ей-богу, правда.

Молодец от прилива чувств всхрапнул, затряс головой и ну целовать руки Долгополова, обливая их пьяными слезами:

– Ну, такого обходительного человека впервой вижу… Верьте совести-с!!

– Ну, полно, полно… Эй, половой! А ну-кось романеи по стакашку на двоих.

Им подали романею и, ради уваженья, сальную зажженную свечу.

– Братия! – гнусаво вопил в темном углу, где сгрудилось простонародье, пьяный самозванец монах-бродяга, – братия, православные христиане!.. А ведомо ли вам, от царя-батюшки, из Ренбург-города, манифест на Москву пришел… Черни избавитель, духовных покровитель, бар смиритель, царь! На царицу войной грядет…

Народ зашумел, задвигался, потом притих.

– Слыхали, ведомо! – отозвался кто-то из середки. – Намеднись сотню гусар на телегах погнали в Казань, шуряка моего заграбастали, гусар он.

– Правда, правда, – поддержали голоса. – Слых есть, царь по Яику-реке гуляет, города берет, на Волгу ладит.

– Посмотри на Калужскую заставу, – по два гонца на день оттедов по Москве к генерал-губернатору скачут… Война там.

– А пошто ж о сем по церквам не объявляют?

– Трусу празднуют…

– Ха-ха!.. – шумел народ.

Многие, выпрастываясь из столов, пошагали к кучке, где монах. Резкий раздался свист.

– Ого! А ну еще подсвистни, – опять загнусил человек, одетый монахом. Распаленный сочувствием толпы, он залез на скамейку, вскинул руки вверх. – Готовься, Москва, великого гостя встретить!.. Будя нам под бабой жить!.. Точите, ребята, топоры!

Тут двое ражих из другого темного угла, опрокидывая скамьи, подскочили к лохматому монаху, ударом по шее сбили его с ног, – кружка с медяками взбрякала, – сгребли за шиворот, вон поволокли.

– Прошибся, ой, прошибся, слуги царские, облыжно говорю! – вырываясь, вопил бродяга и лаял по-собачьи. – Гаф-гаф-гаф! То вино во мне глаголет, бес хвостатый вопиет во мне… Гаф-гаф! Заем! Порченый я, слуги царские, зело порченый… Гаф-ууу!.. А матушке Катерине верой-правдой…

Поднялась суматоха. Стражники хватали людей без разбора. Народ сразу оробел. Всей толпой, давя друг друга, хлынули на улицу, косяки дверей трещали. Чахоточный целовальник внаскок налетал на завязших в дверях гуляк, визгливо орал им в спины:

– Православные! Робята! А деньги-т, деньги-т! Напили-нажрали… Побойтесь бога-т… Кара-у-ул!

На другой день, простояв обедню в раскольничьей часовне на Рогожском кладбище, Долгополов вошел в покои своего квартирного хозяина, купца Титова, отвесил поясной поклон, поздравил с праздником Благовещенья пресвятые богородицы и, помявшись мало, сказал:

– Отец Нил Сидорыч! Уважь мне в твоей лисьей шубе знатнецкой да в шапке бобровой по городу взад-вперед проехать на лошадке на твоей…

– Пошто это? – строго вопросил горбоносый, в большой бороде, старик.

– А так, что дело у меня, отец, не маловажное. Кой к кому заехать надлежит из людей великих. Подарок привезу тебе, отец.

Старик подумал, провел по морщинистому лбу рукой.

– Бери… Токмо не изгадь, мотри, одежину-то, да и лошадь не упарь.

Касаясь пальцами цветных половиков, Долгополов поклонился старику, сказал: «Спаси бог за доброту твою», – и на цыпочках пошагал обратно.

– Стой, Остафий! – Старик подобрал длинные полы кафтана и сел в мягкое кресло. – Вот собираешься ты в Казань-город ехать да в Ренбур… Смотри, брат, не влопайся в оказию.

Тамтка сугубая волноваха заварилась, головы с плеч, аки кочаны, летят, народ вешают, кровь льется.

– Откудов ведаешь?

Старик-раскольник, как бы опасаясь чужих ушей, огляделся по сторонам – и тихо:

– От игумена Филарета, настоятеля нашей обители в Мечетной слободе, что на реке Иргизе. Он впервые и Пугачева обогрел…

– Какого Пугачева, отец?

Старик пристально из-под седых бровей посмотрел на Долгополова и, ничего не ответив на его вопрос, продолжал:

– А в генваре месяце года сего игумен Филарет прибыл в Казань хлопотать, чтобы с иргизских скитов рекрутов не требовали в набор. И прислал оттудов нашему рогожскому протопопу грамотку. И пишет в ней игумен Филарет, что был он самовидцем, как в городе Казани предали лютой казни некоего пугачевского главаря и что-де войско генерал-майора Кара разбито Пугачевым, а сам-де Пугачев на Москву идет… Впрочем сказать, ступай, Остафий, верши дела свои… Вижу, невтерпеж тебе… Иди. Да приглядись позорче, что на Москве-то деется. Шумки по Москве идут… Народ пришествия государя ожидает…

Остафий Трифонович смутился, сказал, виновато улыбаясь: – Да уж не Петра ли Федорыча III? – и, не получив ответа, продолжал: – А я все ж таки в Казань поеду и в Ренбург поеду… Я смелый. Уж ты, пожалуй, не отговаривай меня, отец Нил Сидорыч, не застращивай, пожалуй…

…Часа через два Остафий Долгополов подкатил на хозяйском рысаке к обширному дому купца Серебрякова, что в Замоскворечье. Долгополова радушно встретил у железных ворот знакомый кудряш-приказчик и провел в дом.

В большой горнице обедали двое: молодой хозяин с курчавой бородкой на нежно-розовом лице и его жена, широколицая, грудастая Машенька. Хозяин встал, Машенька облизала ложку и тоже встала. Долгополов истово покрестился на богатый кивот, уставленный с потолка до полу образами в позлащенных ризах, и отвесил поклон хозяевам.

– Добро пожаловать, – приветливо проговорил тенорком хозяин. – Сдается мне, что вы Абросим Силыч Твердозадов из города Ржева будете? Мне наш Василий сказывал…

– Так и есть. Я – Твердозадов, ржевский фабрикант, – развязно сказал Долгополов, испытующе поглядывая на молодого купчика. – А вы Силы Назарыча сынок?

– Так точно. Угадали. Митрием Силычем зовусь. А это вот моя половина, Марья Карповна. Будемте знакомы напредки.

Машенька, покраснев, заулыбалась и, стараясь скрыть в огромной цветной шали свою беременность, проворковала Долгополову:

– Да вы разболокайтесь, пожалуй, да залазьте за стол потрапезовать с нами, чем бог послал.

– Благодарствуем-с на приглашении, – и Долгополов важно снял с плеч богатейшую с бобровым воротником чужую шубу, аккуратненько положил ее на парчевый диван, еще раз покрестился и сел за стол. Ему подали на оловянной тарелке леща с кашей.

– Тятенька не единожды говаривал: сколь годов, говорит, с фабрикантом Твердозадовым торговлю веду, а в глаза-де человека не видал. А вот вы и пожаловали. И что ж, большая ваша фабрика канатная? – И хозяин положил гостю две доли пирога.

– А так ежели без хвастовства, первая по городу.

– А вот у Лукьянова Никандра Тимофеевича, у того как?

– Много гаже-с. И пенька второй сорт. Браку много-с. А я делаю канаты с веревками даже против заморских без охулки… – Долгополов обсосал жирные после рыбы пальцы и, незаметно закорячив ногу, обтер их о голенище.

– Ах, чтой-то вы, – заметив это, сказала Машенька и протянула гостю полотенце: – Вот извольте рушничок.

После пирога с изюмом, после клюквенного киселя с миндальным молоком хозяйский сын, сыто рыгнув и приказав жене: «Покличь-ка Ваську», повел гостя в контору.

Дело при участии кудряша-приказчика Василья быстро завершилось. Долгополов отобрал по образцам красного товару на две тысячи, дал письменное обязательство погасить долг на тысячу рублей веревками своего производства, а на остальную тысячу выдал вексель. Оба документа подписал: «Города Ржева канатных дел фабрикант Абросим Твердозадов».

Помолившись богу, ударили по рукам, на прощанье поцеловались.

6

В ночную пору, когда Долгополов, похрапывая, спал, плеча его коснулась чья-то крепкая рука.

– Восстань, Остафий, – тихо, но внушительно сказал старик Титов, – обряжайся, едем в Рогожскую часовню, соборное бдение у нас тамотко. Велено тебе быть…

По темной Москве ехали долго. Легким морозцем сковало грязь. Кой-где колеса тарахтели по деревянному из накатника настилу. Ночная Москва тиха. Разве-разве какой гуляка прокуролесит с тоскливой песней, пока не свалится где-нибудь на куче навоза и, ядрено обругавшись, не заснет. Да у кабаков то здесь, то там гуднет-расшумится драка с поножовщиной, с диким криком: «Спасите, режут!»

Опаски ради у старика Титова меж коленями трехфунтовая на веревке гиря, а в передке у толстозадого кучера-богатыря под рукой безмен. Но, слава богу, странствие завершено благополучно.

Рогожская часовня чернела неуклюжей горой. Огней не видно, окна снаружи закрыты ставнями, чтоб не было блазну людям. Старик Титов постучал трижды в дверь.

– Господи Исусе Христе, помилуй нас.

– Аминь, – ответил изнутри голос, и обитая железом дверь отворилась.

Горело паникадило, топились изразцовые печи, было тепло, душно, пахло воском, ладаном, овчинами. Остафий Долгополов торопливо закрестился и отвесил четыре поясных поклона восседавшему на кресле, спиной к алтарю, лицом к народу, благообразному седому старику в скуфейке и с лестовкой в руке, затем вправо-влево и назад сидевшему на скамьях и на полу народу. Здесь на ночной совет были собраны надежнейшие старообрядцы, старики.

– Друже Остафий! – окончив совещание, строгим голосом проговорил, обращаясь к Долгополову, раскольничий протопоп Савва. – Мы известны, собрался ты в Казань-город по торговым делам своим. Мы радеем о душе твоей и бренных телесах твоих.

Долгополов, смутясь, молчал. На византийского письма иконах сияли ризы в дорогих каменьях. Старцы, шевеля белыми бородами, широко зевали, закрещивая рты.

– Может статься, – снова заговорил Савва, – встретишь ты в скитаниях своих старца Филарета с Мечетной слободы, что на Иргизе-реке. Был он допрежь из московских купцов второй гильдии, мелочную торговлю вел, а теперича, соизволением божиим, игумен. А не его, так, может, Гурия встретишь, тоже скитский старец с Иргиза, а допрежь был нижегородским купцом Петелиным…

– Я, святой отец, не токмо в Казань, а и подале правлюсь, – перебил Остафий протопопа Савву. – А куды, о том желательно, отец, перемолвиться в тайности с тобой.

– Изрядно хорошо, – ответил Савва и, восстав с седалища, вошел вместе с Долгополовым в предстанье алтаря.

– По тайности, сокровенно глаголю тебе, отец всечестной, – зашептал Долгополов, – чаю я повстречать самого батюшку Петра Федорыча…

– Сие ведомо мне… – При тихом сияньи огоньков Долгополов заметил, как седобородое, с румянцем, лицо старика заулыбалось. – Езжай, езжай, – зашептал он жарко, – толкуй государю: мол, евонное знамя голштинское добыто в Ранбове[4] нашим старанием через великий подкуп… И послано то знамя голштинское в царское становище с неким знатным ляхом Владиславом. Подержи, Остафий, сие в памяти… Можешь?

– Завсегда могу, памятью бог меня взыскал.

– Клянись – ниже под пыткой, ниже при смертном часе никому не поведаешь тайны сей, как токмо государю, – возвысил старец голос, и глаза его засверкали. – Клянись!

– Клянусь!

– Стань на колени… Клянись пред святым евангелием и крестом господним…

– Клянусь, клянусь! – преклонив колена и воздевая десную руку, восклицал купец.

Вынув из-за пазухи записку, старец передал ее поднявшемуся Долгополову.

– А сию грамотку сокровенную отдай Гурию алибо Филарету с рук на руки. Послание изображено цифирью, ключ к пониманию вестей им.

Тут загудел колокол к заутрию, и Савва рек:

– Изыдем, чадо, к братии, сотворим молитву… А государю молви: старозаветная Москва ждет его и сретение ему готовляет.

И они вышли к народу.

Беседой с протопопом Долгополов был ошеломлен. Сердце его билось, мысли путались. Вот так чудеса в Москве!

Дома старик Титов секретно сказал ему:

– Токмо, чур, не обидься, Остафий. Гадала наша община денег тебе вручить для государя, да я, грешный, отсоветовал: зело легкомыслен ты и весь в мечтаниях. Уж не прогневайся, Остафий.

На другой день Остафий Трифонович купил в долг у знакомого купца Волкова красок на триста восемьдесят рублей, а все свои деньги, серебро и медь, поменял на золотые империалы, зашил их в штаны и шапку. В шапку же зашил и тайную грамоту протопопа Саввы. А с обеда выехал в путь с целым возом красного товару, что взял у купеческого сына Серебрякова.

В конце апреля Русь зазеленела, одевались листвой деревья и кустарники, звенели жаворонки над полями, вовсю палило солнце, дороги подсохли, товары Долгополова помаленьку убывали, деньги прибывали, ехать становилось все веселей, все легче.

Давно ж вернулся из Троице-Сергиевской лавры Сила Назарыч Серебряков с женой и дочерью. Вернулся в Москву человеком безгрешным, омыв душу в святоотеческой лавре слезным покаянием, и в первый же день нагрешил с три короба. А дело было так. Купеческий сын Митрий Силыч, похваляясь успехами торговых дел в отсутствие родителя, сказал отцу о доброй сделке с фабрикантом Твердозадовым. Взглянув на подпись в документах, Сила Назарыч с суровостью спросил:

– Это чья рука?

– Фабриканта Твердозадова, тятенька.

– А пашпорт глядел у него?

– Нет, тятенька, поопасался стребовать…

Тут Машенька вовремя ввязалась:

– Они даже у нас трапезовали…

[4] Ораниенбаум под Петербургом, резиденция Петра III.

– Молчать! – топнул на нее Сила Назарыч. – Ишь ты, растопырилась с брюхом-то со своим… Пошла вон! – И, обратясь к растерявшемуся сыну: – Каков он из себя?

– Шуба с бобровым воротником, прямо тысячная шуба. А сами они, тятенька, не вовся большого росту, худощавые с бородкой, лицо рябое.

– Твердозадов-то худощав? Дурак ты, черт… Да у Твердозадова спинища – как этот шкаф и росту, почитай, сажень…

– Да ведь он же в Москве сроду не бывал, тятенька.

– Зато я у него во Ржеве-городе бывал. Эх ты, дубина стоеросовая! Жулику товар продал! – заорал косоглазый и тщедушный Сила Назарыч, уцапал с горсть кудри широкоплечего Митрия, стал с ожесточением мотать его голову во все стороны, ударяя кулаком то по скуле, то по загривку.

Митрий Силыч, могший одним щелчком убить папашу, даже и не пытался вырываться, только молил:

– Тятенька, простите великодушно… По молодости по моей… Васька меня уверил…

Хозяин разбушевался, сшиб ладонью блюдо с пирогом, схватил нагайку, опоясал ею сына, побежал пороть сноху, что принимала с честью жулика, но был схвачен женой своей:

– Машенька на сносях, дурак плешивый!

Хозяин ударил жену по щеке, грохоча подкованными сапогами, сверзился по внутренней лестнице в «молодцовскую» и таки порядочно измордовал кудряша-приказчика. Утомленный столь резкими и многими движениями, лег спать, бормоча:

– Господи, прости ты мое великое прегрешение… Вот тебе и лавра…

А как назначена была после пасхи свадьба его дочери Клавдии и поручика Капустина, то он и положил в мыслях – оба темных документа на две тысячи всучить будущему зятю в приданое за дочерью совокупно с наличными деньгами: зять – человек военный, с кого надо и не надо взыщет денежки свои.

Долгополов все ближе и ближе подавался к Волге. Примечал, что настроение крестьян в деревнях не больно-то спокойно: крестьяне стали дерзки, на улицах гуртовались кучками, перешептывались, а го и громко говорили: вот и к ним-де скоро препожалует царь Петр Федорыч, велит всех дворян передавить, а землю мужикам отдаст. Долгополов всячески поддакивал.

Как-то в селе Троицком черномазый парень, покупая шелковый для кисета лоскут, посверкал на Остафия острыми глазами, молвил:

– Торгуй, торгуй, купец, да поскореича, а то нагрянет царь-государь, еще неизвестно, будет ли миловать торговых… Тоже кровушку-то нашу ладно высасываете, сальные пупы!

Толпа поддержала парня недобрым смехом. Долгополов наскоро задернул воз дерюгой и с шуткой, с прибауткой тронулся на большак, на главный тракт: там все-таки воинские разъезды рыщут, на мужиков наводят страх.

Однажды застиг его в лесу вечер, быстро смеркалось, дождь накрапывал. Навстречу – ватага крестьян, все – вполпьяна. За кушаками топоры, в руках дубины, у иных за голенищами ножи, за спиной смотанные кольцом веревки. Долгополов заорал вознице:

– Гони!

Лошади помчались. Внезапно схваченный веревочной петлей, Долгополов, под дружный смех толпы, перелетел вверх пятками с воза на дорогу. Едва встал, его мотнуло в сторону, кой-как скинул с шеи петлю, слезливо сморщился и захныкал, повизгивая щенячьим, с подбойкой, голосом: «Ой, ой, ой…»

Перед ним всплыл, как медведь, грозный солдат с ружьем, в лаптях, усищи сивые, горбатый нос разбит.

– Кто таков? Кому служишь? – сурово спросил солдат и стукнул ружьем в землю. – Государыне али государю?.. Держи ответ.

Взирая на солдата, как на своего избавителя от пьяных живорезов, Долгополов воскликнул:

– Вестимо – благочестивейшей государыне Екатерине! – и отвесил солдату поясной поклон.

– Ребята, вешай торгового по указу его величества императора Петра! – скомандовал набежавшим мужикам.

Душа Долгополова наполнилась ужасом, он пал на колени, завопил:

– Вру, вру, вру… Ей-богу, вру! Со страху я… Петра Федорыча законным государем почитаю! А от Катьки давно отшатнулся… Она ведьма заморская, извести хотела государя нашего, да бог…

– А-а-а, – перебил солдат и в свирепой улыбке оскалил зубы. – Слыхали, ребята, поносные речи на государыню Екатерину Алексеевну?.. А подайте-ка сюда, ребята, нож повострей, пороху на эту гниду жаль тратить…

Мужики весело заржали. Долгополов затрясся, окинул толпу отчаявшимся взором, прошамкал, утирая слезы кулаком:

– Братцы, сударики! Дак кто же вы сами-то? Сами-то вы за кого – за Петра Федорыча III алибо за государыню Екатерину?

– А тебе пошто знать?

– Ах, братцы… за кого вы, за того и я…

Ватага еще пуще захохотала.

– Братцы, я человек покладистый, я добрецкий человек, я вам, братцы, каждому на рубаху самолучшего канифасу оторву… Дарма!..

– Да мы и сами возьмем… В долг… Поди, поверишь? Ребята, хватай! – И толпа, пыхтя, бросилась к возу. Впереди всех бежал солдат в лаптях. – Токмо на саван, ребята, оставьте старичонке-то. Ха-ха!

Хлынул дождь. У воза жадная свалка началась. Долгополов, спасая жизнь, невидимкой юркнул в гущу леса. «Грабьте, грабьте, сволочи, товару там безделица, да не шибко дорого он и достался-то мне…» – мелькало в мыслях беглеца. Он утекал куда глаза глядят, прислушиваясь к драчливым крикам полухмельной ватаги. Пробежав с полверсты, он изнемог, пал в густой ельник, затаился. У воза делили его товары, орали, мордобой шел, вот раза и два из ружья пальнули, и все смолкло.

– Батюшки! – не своим голосом, как настигаемый волками заяц, пропищал Долгополов. – Батюшки! Шапка! Шапку потерял…

Он вскочил, схватился за виски, хотел бежать, однако ноги сдали, он снова упал в ельник и, хныкая и боясь громко кричать, давился слезами и повизгивал: ведь в шапке-то зашито, почитай, все его богатство, паспорт там, скрытная бумага протопопа Саввы… Боже мой, боже мой, что же ему делать?.. Он сообразил, что шапка свалилась, когда его сдернули с телеги. И, выждав время, пошел к тому месту, где должен стоять воз.

– Максим! Максим!.. – кричал он и прислушивался, не ответит ли возница. Но всюду тишина. Тьма сгущалась. Шел, шел, натыкаясь на деревья, звал Максима, творил молитву, сворачивал то вправо, то влево, то забирал назад, вконец закружился, потерял остатки сил и, внутренне раздавленный, сел на пень. Рукой ограбленного скряги он прощупал зашитые в штаны империалы, освидетельствовал все тайные и явные карманы, в них серебро и медяки. Тут скаредные мысли поослабли, от сердца отлегло, и Долгополов только в этот миг осознанно почувствовал себя в неминуемой опасности: разбойники, глухая ночь и лес дремучий, набитый медведями, волками, лешими. Узенькие глазки его расширились навстречу страху и стали круглы, как у филина, слух обострился, душа сжалась. Долгополов сроду не бывал в ночном лесу и со всех сторон ждал на свою голову погибели.

– Максим! Макси-и-им! – неистово взывал Долгополов.

Эхо звонко гудело во всех концах. Ответа не было. Дождь давно перестал, ночные ветерки шумели по верхушке леса.

Мало-помалу успокаиваясь, купец начал подремывать. «Нет, спать не можно, черти замучают, лесовик придет – душу вынет…» Покряхтывая и разминая поясницу, он встал, отломил сук, обвел им по земле вокруг себя черту, приговаривая: «Бог в черте, черт за чертой», – опять сел на пень, окрестил воздух со всех четырех ветров, затем вяло позевнул, голова его упала на грудь. Засыпая, он вдруг услыхал: «Максим, Максим!» – будто спустя большое время передразнили его. Он открыл глаза и во весь голос закричал:

– Макс-и-м!.. Я ту-та-кааа!!!

Только эхо сонно пробубнило, и никто не ответил Долгополову. Он слабо удивился, но испугаться не успел: глаза его опять смежились, все исчезло вокруг.

Глава II. Месть муллы. Падуров и другие. Конец Яицкого городка. Полудержавный властелин

1

Узнав, что Пугачев оставил Берду и принял путь к Переволоцкой крепости, князь Голицын приказал подполковнику Бедряге эту крепость занять и выслать разъезды к крепости Ново-Сергиевской. А Рейнсдорпу было предписано наблюдать за всем течением Яика и занять войсками: слободы Бердскую, Каргалинскую и Сакмарский городок. Но, под впечатлением неудач во время осады, Рейнсдорп продолжал находиться в бездействии и приказа в полной мере не исполнил. Даже Берда не была занята его войсками. Пугачев этой оплошностью губернатора впоследствии воспользовался.

Пройдя верст пятьдесят от Берды, он вдруг встретил до тридцати человек лыжников из разведки Бедряги. Это испугало Пугачева.

– Нет, други мои, – сказал он, – этим местом нам не пройтись, видно, и тут у них много войска, как бы не пропасть нам всем.

Повернули назад, опять в сторону Оренбурга. Шли не быстро, потому что дороги были убойные: то раздрябшие сугробы, то по колено коням грязь. Бросили три пушки для облегчения. Лица спутников Пугачева были грустны. Желая как-нибудь подбодрить людей, он сказал вполусерьез-вполушутку:

– Если нам в здешнем краю не удастся, пойдем, детушки, прямо в Питенбург. Чаю, наследник мой, Павел Петрович, нас встретит там…

Атаманы упорно молчали. Их даже удивили такие несуразные о Петербурге речи. Всей армией ночевали на хуторе проводника казака Репина.

Снег быстро таял. Всю ночь с крыш дружная капель била. По оврагам бежали мутные шумливые потоки. Полным ходом шла весна.

Пугачевцы сознавали, что они почти со всех сторон окружены голицынскими отрядами.

– Теперича мы, Петр Федорыч, словно бы в шашки с Голицыным играем, – чрез силу улыбаясь, сказал Шигаев. Они сидели в хате за столом, ели кашу. – Как бы нас с тобой, батюшка, в нужник не запер Голицын-то…

– Не моги ты, Григорьич, об этом и думать, – угрюмо возразил Пугачев. – Лучше прикинем-ка, детушки, куды таперь пойдем.

– Пойдем в Каргалу, Сакмару да на Яик. А с Яика спустимся на Гурьев-городок[5], там добудем провианта, – отвечали ближние.

– Да можно ли отсидеться-то в Гурьеве? – усомнился Пугачев.

– Конешно дело, долго там сидеть несподручно будет, – отвечали атаманы.

– Я бы вас на Кубань провел, – раздумчиво сказал Пугачев, – да таперь как пройдешь? Крепости, мимо коих идти, врагом заняты, в степу еще снега, да и провианту маловато у нас… Пожалуй, и не пройдешь таперь…

Никто не знал, куда идти, как от беды спасаться. Падуров тоже играл в молчанку. Он мрачен наособицу, он не может разыскать свою Фатьму. Куда она запропастилась? Нет ни Фатьмы, ни ее брата джигита Али, ни Шванвича… Неужели они все трое остались в Берде? Неужели угодили в полон к Рейнсдорпу?

[5] На северном берегу Каспийского моря, при устье реки Яика (Урала).

Бывший в хате башкирский атаман Кинзя, видя замешательство пугачевских атаманов, спросил Пугачева чрез переводчика Идорку:

– Куда вы, государь, нас ведете и что думаете делать?

– А веду я вас в Сакмарский городок, либо в Каргалу, либо еще куда подале… Пробудем там до весны, а коль скоро дождемся хорошего времени, поведу я свое воинство на Воскресенские Твердышева заводы.

Кинзя вдумчивыми глазами воззрился в похудевшее лицо Пугачева и бодрым голосом сказал:

– Ну, ежели вы на заводы придете, в нашу Башкирь, я вам чрез десять дней хоть десять тысяч своих башкирцев поставлю, конницу.

– Благодарствую, Кинзя Арсланыч, спасибочко тебе!.. Верный ты, – растроганно сказал Пугачев, и на его душе несколько потеплело, но брови были все так же хмуро собраны над переносицей.

Он тотчас приказал Падурову и Почиталину написать воззвание к башкирскому народу. И письмо князю Голицыну.

– Пускай князь поразмыслит, с кем воюет, супротив кого идет, – приподнято говорил Пугачев, силясь произвести впечатление на ближних. – Да не забудьте, господа писаря, напомнить ему, что, мол, отцы и деды его верой и правдой служили моим приснопамятным предкам.

Уходя спать, Пугачев уже который раз подумал: «Где-то Овчинников мой, да Горбатов-офицер с Перфишей? Да в добром ли здоровье верный мой старик Павел Носов?»

26 марта Пугачев с войском был в Каргале, он занял ее без боя, так как Рейнсдорп и не подумал прислать туда воинский отряд. Емельян Иванович с большим сожалением узнал об аресте здесь Хлопуши. Он приказал атамана Мусу Улеева и всех каргалинских старшин насмерть переколоть, дома их сжечь.

Две красавицы-татарки – Улеева и Абрешитова, крепко любившие «бачку-осударя», принимавшие его у себя и приезжавшие погостить к нему в Берду, умоляли Пугачева помиловать их мужей – сотника и атамана. Но Емельян Иваныч в раздражении сказал им:

– Ваши мужья – не люди, а собаки! Они, изменники, наивернейшего слугу моего погубили – Хлопушу.

Учиня быструю расправу, он поставил в Каргале начальствовать Тимофея Мясникова, при нем оставлено было триста человек башкирцев и крестьян. Наконец-то и краснощекий Тимоха, приятель Зарубина-Чики, в большие начальники попал.

В тот же день Пугачев занял Сакмарский городок, а так как провианта в армии было маловато, он послал Творогова в Берду: «Авось чего не то там сыщешь».

Творогов взял с собой отряд конников в тысячу человек. Пред его отъездом в путь подошел к нему озабоченный Падуров и спросил:

– Когда ты свою Стешу отправлял домой, не заприметил ли Фатьмы, не увязалась ли она за твоей жинкой?

– Нет, Тимофей Иваныч… За суетой и ни к чему мне было… Не до баб теперь.

Творогов быстро налетел на Берду, захватил в плен немногочисленную команду Рейнсдорпа, добыл провианту, но, приметя, что к слободе подступает авангард Голицына, вернулся в Сакмару. На обратном пути пристали к нему Али и Фатьма на своих конях. Невзирая на весенние, радостные дни, Фатьма с опечаленным сердцем, с тоской в глазах ехала к своему Падуру.

– А где Шванвич? – спросил Творогов.

– Мы искали его, нету, – ответил Али и переглянулся с сестрой.

Губернатор Рейнсдорп, чтоб как-нибудь оправдать свое ротозейство, в донесенье по начальству сообщил, что вчерашнее нападение на Берду было произведено «злодеями» под

прикрытием густейшего тумана: «Внезапу подкрались и ударили». Но член-корреспондент Академии наук Рычков рад был случаю поглумиться над Рейнсдорпом. В дневнике он записал: «Могло статься, что в оной слободе был густейший туман, но в городе во весь сей день никакого тумана не было».

Тем временем князь Голицын отправил для преследования Пугачева крупный отряд полковника Хорвата. Сам выступая из Татищевой, Голицын оставил в этой крепости Мансурова, предписав наблюдать, чтоб «злодей» не мог пробраться к Яику, а затем, ежели зимний путь допустит, идти ему, Мансурову, на Яик.

Хорват вскоре занял Берду и донес Голицыну, что Пугачев снова успел скопить себе силу, к нему на помощь прибыли до двух тысяч башкирцев и присоединилось много «отчаянной сволочи», что «злодей» с пятитысячным войском, набрав провианту и фуража, сидит в Сакмарском городке (в двадцати верстах от Оренбурга) и намерен защищаться.

Князь Голицын принял нужные меры. Он 31 марта занял Берду и с небольшим конвоем и свитой пышно въехал в Оренбург как триумфатор. Его прибытие приветствовалось колокольным трезвоном, пушечной пальбой и радостными криками обывателей.

Повернись судьба иначе, и, может быть, многие горожане, казаки и солдаты с еще большей торжественностью, с еще большим рвением встречали бы Емельяна Пугачева.

Дворянством, начальством и купечеством был дан Голицыну обед. Разговоры кружились возле событий последнего времени, возле непомерных трудностей пережитой Оренбургом блокады, коснулись также театра военных действий в Турции. Но Голицын, к сожалению, ничего нового о войне не знает, так как давно не получал оттуда известий; может быть, письма, ему адресованные, где-нибудь путаются по оренбургским и башкирским просторам.

После обеда в гостиной губернаторского дворца подвыпившему, как и все гости, князю Голицыну был представлен в виде курьеза собравшийся уезжать в свой Курск купчик Полуехтов. Довольно живо, с потешными ужимками, то размахивая руками, то почесывая за ухом, он рассказал князю о своей схватке со «злодеями», о поездке к Пугачеву и страшном разговоре с ним. Слушая его, развеселившийся князь, а за ним все гости немало смеялись.

– А господин Пугачев-то, смотрите-ка, остроумец изрядный, – говорил князь и, обратясь к купчику: – Так кто ж вы теперь, Полуехтов или Полуухов?

– Ухи целы, ваше сиятельство… Стало, я, как и допрежь, Полуехтов, – захлебываясь, бормотал купчик.

– Герой, ваше сиятельство!.. О! Герой! – восторгался Рейнсдорп. – С одной крюшка, ваше сиятельство, инсургентов прогонял!

Князь поднялся, снял со своей груди золотую медаль, повесил ее на грудь задохнувшегося от внутреннего трепета купчика и обнял его, сказав:

– Носите с честью, молодой человек. Такие люди, как вы, отечеству нашему на пользу.

1 апреля, в два часа утра, Голицын двинулся из Берды. Приближаясь к Каргале, князь узнал, что ему навстречу выступил из Сакмарского городка Пугачев с двумя третями своего войска.

Каргала с окрестностями находилась среди Губерлинских гор, в местности, изборожденной высокими сопками, глубокими рвами и дефилеями, что создавало весьма большое преимущество для обороны и невыгодные условия для наступления.

Пугачев приготовился к защите своей сильной позиции и на «самонужном» возвышенном месте выставил батарею из семи орудий.

Когда показался головной сводный батальон капитан-поручика Толстого и конный отряд подполковника Аршеневского, дружно загремели пугачевские пушки. Однако умелая атака воинских отрядов принудила пугачевцев бросить свои позиции и начать отступление.

Они отступили за три версты к лесопильной мельнице, что на реке Сакмаре, между Каргалой и Сакмарским городком.

Голицын, осмотрев местность, намеревался разгромить здесь противника. Он приказал выставить орудия на господствующей над местностью высоте. Пугачев тоже довольно искусно расставил свои уцелевшие пушки, но у него было слишком мало зарядов. Он предвидел опасность поражения от голицынских испытанных и приноровившихся к боевой обстановке солдат. Пугачевская толпа, в особенности башкирцы и часть вновь примкнувших крестьян, точно так же взирала на многочисленного, хорошо вооруженного врага с внутренним шатанием.

И, действительно, после нескольких удачных выстрелов голицынских пушек среди пугачевцев возникло замешательство.

Пугачев скакал по рядам своих войск, зычно кричал с коня:

– Грудью, детушки! Не трусь! Стой на месте!.. – но в его голосе уже не слышалось разжигающего задора.

Суетились в своих частях и Падуров с Почиталиным, и Жилкин с Горшковым, и Максим Шигаев.

«Ну, до чего жаль, что нет Овчинникова», – скучал сердцем Пугачев.

Сердце Фатьмы было тоже неспокойно. Вместе с братом своим Али она в боевом полку оренбургских казаков Тимофея Ивановича Падурова. Ей чудится близость чего-то недоброго. Она с тревогой поглядывает в сторону своего Падурова… Почему у него такое, совсем темное, лицо, и усы обвисли, и чуб спрятан под мерлушковую шапку; и помутившиеся, словно пьяные, глаза? Скверно на душе у Фатьмы.

За Емельяном Пугачевым скачет Ермилка, у него в поводу – три заводных коня «на в сяк случай для батюшки, он – бог с ним – хоть и нетолст, да дюже грузен – как из железа сбит, под ним любой конь живо зашатается».

Меж тем бой крепнет, входит в силу. Голицынская картечь, как градом, стегает по пугачевцам. Вот засвистели ядра. Оробевшая толпа, теряя убитых и раненых, то здесь, то там кидается врассыпную, но, воодушевляемая личной отвагой Пугачева и полковника Шигаева с Падуровым, вновь овладевает собою. Оренбургские и яицкие казаки спешились. Засев за огромные камни, хоронясь за деревья, они метко отстреливаются, сшибая наступающего врага. Но враг упорно движется вперед. И всюду гремит, раскатывается солдатское «ура».

Стремясь отрезать отступление противника, голицынские гусары спешат охватить фланги пугачевцев. Заметив это, казаки всполошились: они срываются с мест и, вскочив на коней, готовятся утечь подальше. Вскочила в седло и Фатьма. Ее конь храпит и кружится. Фатьма бьет его нагайкой, а сама все ищет взором то место, где пестреет боевое знамя, где носится с Ермилкой одетый в простое платье государь.

– Казаки! Вперед! Не робей! – размахивая саблей, командует с коня Падуров.

Казаки выхватывают сабли, берут наизготовку пики, кричат воинственно «ги-ги-ги!». Но под ударами вражеской картечи, не принимая боя, отступают. Падуров растерялся. Чтоб не остаться в поле одному, он и сам по необходимости устремляется вслед за казаками, за Фатьмой. Вдруг он с удивлением усмотрел, что среди гусар, наступающих на левый фланг, рыщет стая татар, а с ними седобородый с желтым иссохшим лицом старик с поднятой в руке кривой турецкой саблей. Рядом с желтолицым громоздится на коне тучный мулла с белой чалмой на голове.

– Глянь, Падур! – прокричал испуганно Али. – Мулла с купцом… Ой, алла-алла, они Фатьму ищут…

– Не государя ли?

– Нет, Фатьму!.. Давно ее ищут… Худой дела… – И Али, взмахнув локтями, поскакал.

Бой еще не сломился. По заснеженному полю, по увалам и сопкам туда и сюда, вправо и влево, вперед и назад снуют пугачевцы и голицынцы. И не понять было, где свои, где чужие, – все смешалось.

Еще немного, и под жестоким натиском голицынцев, под грохот их пушек пугачевское воинство ударилось в бег к Сакмарскому городку.

Чувствуя, что оробевшую толпу ничем нельзя уже остановить, Пугачев скакал среди отступающих и в гневе голосил:

– Гей, гей! Гуртуйтесь в городке! Не допускай злодеев! Кроши их!..

Отделясь от толпы, он поскакал с Ермилкой и небольшой охраной на правый фланг, чтоб ободрить оборонявшихся там уральских работников и казаков.

Гусарский офицер-рубака, ткнув нагайкой в сторону мчавшегося вдали Пугачева, заорал своим:

– Лови Пугачева! Кто словит – десять тысяч!

И вот изюмские гусары, сминая кусты, топча бегущих мужиков, поскакали напересек Пугачеву.

– Государь! Эвот, государь! – вырвавшись из перелеска с горстью храбрецов-казаков, пронзительно закричала Фатьма. – Спасай бачку-государя!..

И кучка смельчаков помчала за нею наперерез скачущим гусарам. Татарка потеряла шапку, длинные косы ее плескались по спине, в сильной руке сабля.

А позади нее, догоняя сестру, спешил молодой джигит Али. Его конь то вязнет в сугробе, то выпрастывается на протоптанное место. Али бьет его плетью, надрывается в крике:

– Фатьма, назад!.. Назад!.. Мулла здесь! Гей, Фатьма!.. Мулла Ахметов… – но смертельно сраженный пулей, он, круто качнувшись вбок, на всем скаку падает с седла, хрипит, корчится в судорогах и затихает.

Казаки Фатьмы бурей врезались в ряды гусар. Медведеобразный казак Илюха, прикрякнув, рассек ретивого офицера пополам и, бросив сломавшуюся свою саблю, схватился за пику.

Рев, гвалт, отчаянная ругань, сеча, редкие выстрелы. Кони, похрапывая, взвиваются грудь в грудь на дыбы. Внезапно атакованные гусары вначале смешались, затем, опомнясь и видя, что напавших на них казаков небольшая горстка, стали прижимать их к перелеску. Казакам и Фатьме грозила опасность. Зато Емельян Иванович успел скрыться из виду.

Ратное поле от лесу до лесу теперь было чисто, лишь чернели на белом снегу тела убитых и раненых. А все живое мелькает и движется – одни отступают с боем к Сакмарскому городку, другие преследуют отступающих.

Падуров вдруг усмотрел свою татарку.

– Фатьма! Фатьма! – во все горло кричит он и, весь охваченный страхом, стремится на помощь к ней.

За татаркой, пурхаясь в снегу, спешат гусары. Преграждая ей дорогу справа и слева, они стараются загнать ее коня в глубокую снежную застругу.

Падуров ничего не видит, кроме сверкающего возле Фатьмы клинка турецкой сабли да ослепительной белой чалмы.

– На по-о-мощь! – кричит обезумевший Падуров. – Братья казаки, на помощь!

Но казаков нет вблизи, – спасаясь от гибели, они прянули в лес.

И не треск ружейных выстрелов по бегущим казакам, не глухой гул ухнувшей пушки вдали, а пронзительный крик старика в чалме поразил слух Падурова.

– Алла! Алла! – визгливо вопил старик, настигая Фатьму.

Коня татарки загнали по грудь в сугроб. Из ее рук гусары выбили саблю.

– Падур! Падур! – кричит Фатьма.

Метко брошенная петля гусарского вахмистра вмиг валит ее с коня. С гортанными криками, подобными клекоту хищных птиц, поверженную на землю женщину окружают татарские всадники.

И внезапно падает в сугроб сбитый пикой Падуров. На него налетели сразу пятеро, ему вяжут назад руки, набрасывают на шею аркан, ведут прочь, подгоняя ударами плеток; он беспрестанно оглядывается, в ужасе стучит зубами.

Меж тем костлявый старик, наскоро засучив рукава, уже взмахнул над головой Фатьмы кривой своей саблей.

– Сто-сто-стой! – неистово завопил подскакавший мулла. – Ля илля! Именем Мухамеда, стой!

В пухлой руке муллы – грузный жезл с отточенным концом и позлащенным набалдашником. Мулла тяжело дышит, возводит налитые кровью глаза к небу и сиплым голосом бросает Фатьме:

– Проклятая! Закон аллаха повергла!.. Так умри же, дочь шайтана! – и, занеся жезл, он с силой пронзает острием грудь Фатьмы.

Татарка пронзительно взвизгнула и, затрепетав, упала.

Изо рта ее хлынула кровь. Мулла весь дрожит, затем начинает громко икать, двойной подбородок его, обтянутый лоснящейся кожей, колышется.

– Руби!

Желтолицый костлявый старик, взмахнув саблей, разом отсек Фатьме голову. Лицо Фатьмы бело, глаза полузакрыты.

Все кончено. Цвела жизнь, и не стало жизни. Но тот, кто отдает свою жизнь за других, идет мимо смерти – в память народную.

Голова воткнута на копье и вознесена над всеми. Иссиня-черные косы повисли, как ветви плакучей ивы. Указывая на мертвую голову, мулла поучающе молвит:

– Великий аллах и Мухамед, пророк его, дали мне мощь сразить цвет горький, отравляющий дыхание нашей правоверной земли. Давайте молиться о Фатьме… Проклятье человеку, соблазнившему плод от плода нашего, кровь от кровей наших!.. Ля илля!..

Он заунывно поет из корана, к его голосу хором пристают татары.

2

Тем временем отступавшие пугачевские толпы, отстреливаясь, подтягивались к Сакмарскому городку. Но задержаться здесь было невозможно: изюмские гусары и чугуевцы с двух сторон налегали на мятежников, а сзади густыми цепями бежали, пуская ружейные залпы, солдаты карабинерского полка. Гористая местность, покрытая лесом, вся в глубоких оврагах и падях, по дну которых стремились потоки вешней воды, была гибельна для отступающих.

Преследуемые, утратив в конце концов всякий порядок, бежали пешими и скакали на конях, не помня себя. В узком междугорье они стеснились так густо, что давили друг на друга. Лишь отдельные кучки удальцов с последней яростью продолжали обороняться, но большинство их гибло или попадало в полон, а кто спасался – бежал в городок прятаться в подпольях, в банях, на чердаках.

Емельян Иванович скакал на свежем коне к Пречистенской крепости. Пугачевцы были разбиты и рассеяны.

Сакмарский городок оцепили воинские части Голицына. Производились повальные обыски. Уже было сыскано и арестовано несколько видных мятежников.

Связанного Падурова с арканом на шее вели через опустевшее поле. У него темно в глазах, мутились мысли, звучал в ушах беспрерывный пронзающий душу голос татарки: «Падур, Падур…»

Возле него стонут, ползут, кой-как движутся раненые, он шагает словно в бреду через трупы своих и врагов, и все вокруг него захлестнуто дымкой.

Вдруг он видит – лежит в стороне сверх сугроба атаман Витошнов – руки раскинуты, глаза в небо, безмолвствует.

– Андрей Иваныч! Витошнов! – вскричал Падуров и приостановился. – Господа гусары, дозвольте… Он нашей Военной коллегии главный судья. Может, старичок жив еще.

– Иди! Иди!.. Жив, так приколем… – закричали гусары, и один даже слегка стегнул Падурова плетью.

В станичной избе, куда ввели Тимофея Падурова, сидели на скамье связанные: близкий друг Пугачева – Максим Григорьич Шигаев, Иван Почиталин, солдат Жилкин и главный писарь Военной коллегии Максим Горшков. Они сидели понурые, сгорбленные, с низко опущенными головами. Холеная, обычно расчесанная надвое борода Максима Шигаева теперь обвисла мочалкой. Ваня Почиталин, уставясь в пол, часто взмигивал, утирал глаза рукавом изодранного в свалке чекменя.

Падуров взглянул на товарищей, остолбенел, покачнулся. Измученным голосом сказал:

– Братья казаки, старик Витошнов убит, Фатьма убита… Жив ли батюшка?

Ему никто не ответил. Кровь разом отхлынула от его мозга, задрожало, остановилось сердце, он судорожно стал хвататься за воздух и с закрытыми глазами упал боком на стол.

С толпой в пятьсот человек[6] Емельян Пугачев, как гласят показания сообщников его, бежал «не кормя, во всю прыть до Тимошевой слободы. По приезду в ту слободу, только что накормили лошадей, то поскакали опять и, приехав в село Ташлу, ночевали».

Избежав прямой опасности, Емельян Иванович стал приводить в порядок собственные мысли. Он недосчитывался многих соратников своих. Где они, забубенные головушки? Он ничего не знал о судьбе друга своего Шигаева, Вани Почиталина, верного полковника Падурова, Горшкова и Витошнова.

Прошло в нетерпеливом ожидании еще два дня. Никто из его сподвижников не появлялся. Пугачев, охваченный душевной мукой, наконец решил, что они либо убиты, либо угодили в полон. «А может быть – во всем благополучии, да только на след мой не нападут. А вот где Овчинников с Горбатовым?»

Он не знал, что главный атаман его бывшей армии Овчинников с остатками толпы отступил из-под Татищевой крепости в Яицкий городок. Он также ничего не ведал и о том, что офицер Андрей Горбатов с Варсонофием Перешиби-Нос, с двумя яицкими казаками, башкирцем и работным человеком с Авзяно-Петровского завода, прячась от вражеских разъездов, пятый день ищут Пугачева по степи.

Но вот наконец-то они напали на его след, вот уже слышен топот их коней, вот Андрей Горбатов, едва державшийся на ногах от пережитого им в скитаниях голода, холода и треволнений, входит к Пугачеву в дом.

– А-а-а, ваше благородие! Откудов ты? – вскакивает Пугачев, морщины над его переносицей распрямляются, он с приветливой улыбкой спешит навстречу офицеру. – Ну, как да что?

Братски поздоровавшись с Пугачевым, Горбатов кратко перемолвился с ним. Затем сели обедать.

---

[6] Около ста человек яицких и илецких казаков, около ста заводских крестьян и триста человек татар с башкирцами. – *В.Ш.*

Обед подавала Ненила. Ермилка еще в Сакмарском городке прикрутил ее веревками к заводному коню, чтоб не упала, и примчал вместе с попом-расстригой. За обедом, на котором присутствовал и Кинзя Арсланов, Горбатов рассказал Пугачеву об окончании боя под Татищевой, о бегстве в Яицкий городок уцелевших казаков и заводских крестьян вместе с атаманом Овчинниковым и о своем, Андрея Горбатова, желании во что бы то ни стало разыскать государя. И вот желание его сбылось!

Подробно расспросив Горбатова о всех военных делах и снова запечалившись, Пугачев принялся в свою очередь рассказывать о неудачном сражении его людей у лесопильного, на реке Сакмаре, завода.

– Как видишь, я всех растерял своих, один остался… Эхе-хе-хе. Вот Кинзя еще, да Ермилка полководец, да Ненила генеральша. Да еще, кажись, поп Иван. Вот и все свитские мои… – пробовал шутить Пугачев, но это ему на сей раз не удавалось. – А не знаешь ли ты, что подеялось со стариком моим Павлом Носовым, бомбардиром? Убит, поди?

– Нет, государь, не убит…

– Ранен, что ли?

– Ни то, ни другое…

– Так чего ж с ним?

– Повесился, государь. Перешиби-Нос видел это…

– Ой ты!.. – выдохнул Пугачев и рванул рубаху против сердца.

Позвали Варсонофия. Необычайно худой, костистый, только большие обвисшие усы все те же. Варсонофий поздоровался с «батюшкой» и прочими и на вопрос Пугачева о судьбе Павла Носова насквозь прозябшим хриплым голосом заговорил:

– Бегу это я, ерш те в бок, во вся тяжкие, как бы, думаю, в лапы им, дьяволам, не угодить… Бегу, а сам глазами зыркаю, нет ли где коня. Глядь-поглядь – направо пушка стволиной над обрывом свесилась, на пушке, на стволине, ерш те в бок, петля ременная, в петлю Павел Носов свою головушку вкладает. А сзади нас: бах-бах-бах, бах-бах-бах… Пули, как шмели, над нами жужжат-свищут… Я кричу во всю глотку: «Дедушка, дедушка!.. Что ты надумал… Побежим!» А он: «Батюшку побереги!..» – да с этими словами и скакнул вниз и закрутился на ременной петле. Ахти, беда!.. А сзади, ерш те в бок, бах-бах-бах, бах-бах-бах… Я на коня, да и укатил. А как отъехал в безопасность, слезы, понимаешь, ваше величество, то есть такие горькие слезы закапали из глаз… Дивно хорош старик-то был, ведь мы его с тобой… это, как его… – вдруг осекся Варсонофий. – Я ведь его, дедушку Павла-то, еще на Прусской войне знавал.

Пугачев слушал рассказ, низко опустив голову. Затем перекрестился и сказал с чувством:

– Превечный спокой его головушке… Верный был.

Емельян Иваныч еще ниже опустил голову и, зажимая то правую, то левую ноздрю, отсморкнулся на пол. Видя это, Ненила тотчас подала ему прибереженный ею чистенький платочек.

– Благодарствую, – каким-то сорвавшимся, почти детским голосом, едва сдерживая душившие его всхлипы, сказал он Нениле и вытер платком глаза, потом выдохнул с шумом воздух, не глядя ни на кого, улыбнулся и молвил:

– Скажите-ка отцу Ивану, чтоб поминал старика Носова – Павла Носова. Да и других прочих, которых… Э-эх! – отмахнулся он рукой, ссутулился и повернул голову вниз и вправо, как будто силясь что-то рассмотреть в темном углу избы. Затем тихо проговорил:

– В Яицком городке слепой старик такой есть, Дерябин прозвищем, он мне вот этот самый перстень подарил Степана Разина, – и Пугачев, приподняв руку, посверкал кольцом. – Ну так вот старик пел: «По боярам панихиду ворон каркает…» Страшусь, как бы не по боярам, а по нам по всем ворон не скаркал панихиду-то… Мы здесь люди свои, да пряма

говорю, без обиняков, в открытую… Истомилось сердце-то мое… Сон пропал. Не горазд радуют меня дела-то наши…

Горбатов, видя расстроенные чувства Пугачева, воскликнул:

– Не унывайте, государь! После ненастья будет и солнышко.

Эти идущие от сердца слова сразу озарили озябшую душу Пугачева.

– А я, ведаешь, и не унываю, – вскинув голову, ответил он. – В военном деле, ваше благородие, удача переменчива: сегодня он меня за бороду, а завтра я ему ногой на брюхо да и кровь сосать! Еще мы, ведаешь, этим Рукавицыным-Голицыным пятки-то к затылку подведем. Кабы я тогда поболе народу из Берды захватил, под Татищевой-то мы смяли бы князя. Поди, сам видел, ваше благородие, наших-то хулить не можно, гарно бились.

Пугачев то подбоченивался, то пристукивал ладонью по столешнице.

– А скажите-ка, ваше благородие, где Шваныч? – вдруг обратился он к Горбатову.

– Не ведаю, государь, – ответил тот. – Только знаю, что в Татищевой его не было.

– Хм, – сказал Пугачев и призадумался.

Как раз в это время в Оренбурге снимали с Михаила Шванвича второй допрос. Между прочим, он показывал: «А как Пугачев по разбитии под Татищевой приехал ночью в Берду и отправил несколько возов, неизвестно – с чем и куда, а сам поутру из Берды ушел, оставя в Берде множество еще злодеев. Потом пришел ко мне оренбургского гарнизона сержант Лубянов, которого я спросил, все ли уехали? А как отвечал: „Почти все“, то вышел я на двор к воротам, мимо которых ехали оренбургские казаки, человек восемь, которых спросил я: „Куда вы едете?“ А как они отвечали, что „гонят нас насильно за Пугачевым“, на то я им сказал: „Лучше поедемте не за Пугачевым, а в Оренбург“, почему они и согласились. Но тут я был схвачен солдатами, высланными из Оренбурга господином губернатором Рейнсдорпом, и передан офицеру».

В этом показании, ради облегчения своей участи, Шванвич несколько отступил от правды. Дело было так. Когда из Берды началось бегство, девятнадцатилетний юноша Шванвич совершенно растерялся. Он не мог решить, что ему делать: следовать ли безоглядно за самозванцем или, спрятавшись куда-нибудь и выждав время, когда все пугачевцы из Берды уйдут, явиться в Оренбург с повинной. Его оставляли силы, и ясность мысли затмевалась. О, если бы был с ним Падуров, или Андрей Горбатов, или даже старый его дядька Киселев Фадей! Он почувствовал острую нужду в дружеской помощи, в добром совете, но кругом его пустота, и душа была объята смятением. Он в общей суматохе скрылся в чью-то землянку. И вот гнусный, хехекающий голос: «Здесь, здесь, берите его, я видел…» Шванвича выволокли из могильной тьмы на вольный свет.

– Хе-хе-хе… С праздничком, ваше благородие! – с подлой ужимкой, потирая руки и кланяясь, барашком проблеял в лицо Шванвичу «чиновная ярыжка».

Шванвич с презрением взглянул на него, крепко сжал губы и сразу почувствовал в себе прилив силы и бодрости. Арестованный, он стоял позади сидевшего на бревнах офицера и слышал его слова, обращенные к пропойце чиновнику.

– Ревностное поведение твое может послужить к облегчению твоей участи. Так иди же, братец, к одураченному мужичью и внушай сим скотам бессмысленным, чтоб шли в Оренбург с повинной.

3

Емельян Иваныч все чаще и чаще вспоминал пропавшего без вести главного атамана своего Овчинникова, жену-государыню Устинью и непокорный Яицкий городок, к которому уже подступал генерал-майор Мансуров.

Положение Симонова с гарнизоном было тяжелейшее. Солдатам выдавали по четверти фунта муки на день при изнурительной работе. Половина людей всегда была «в ружье», другой половине дозволялось дремать сидя.

Девятого марта полковник Симонов произвел вылазку, но был мятежными казаками разбит и надолго заперся в ретраншементе. Спустя после этого пять дней над крепостью взвился бумажный змеёк, к мочальному хвосту его был привязан конверт с пакетом. То было письмо казаков к полковнику Симонову и всему гарнизону. Мальчишки, в том числе Ваня Неулыбин, клеили змейка, с увлечением равняли «подхвостницу», крепили «репицу», устраивали «трещотку». Как только змей поднялся над крепостью, мальчишки подрезали нитку, и он, давая «курны», упал в расположение ретраншемента.

В письме казаки советовали Симонову, во избежание напрасного кроволитья, от вылазок на будущее время воздержаться, а лучше отворить ворота крепости, угрожая в противном случае «звероярostною местью». В ответ на это Симонов отправил к атаману Каргину увещание с требованием покорности и прекращения смуты. Каргин со старшинами, прочтя увещание, стал обдумывать, как бы поскладней да «позабористей» ответить Симонову. Составление ответа было поручено писарю Живетину.

А в это время проживал в подызбице Устиньиного дворца изгнанный с Иргиза игуменом Филаретом раскольничий старец Гурий. Этот лохматый и черноволосый пьяница, похожий на старого цыгана-конокрада и выдававший себя за Христа ради юродивого, был нравом буйный, на слова дерзкий, на баб охочий. Священник, который венчал Устинью, внушал ей, что сама государыня Елизавета Петровна всегда привечала Христа ради юродивых, кликуш и всяких людей божьих, то и вам, мол, матушка-царица, надлежало бы сим богоугодным обычаем не брезговать.

И старца Гурия стали приглашать наверх. Войдя в светлицу, он обычно с усердием молился в передний угол, а сам ошаривал глазами стол: достаточно ли выставлено выпивки, вкусна ль закуска. Преподав благословение и выпив, «любожорный» старец начинал грубым голосом благовествовать. Он застращивал Устинью и всех присутствующих баснями о хождении праведной Федоры по мытарствам или рассказывал «житие» святого пустынника Исаакия Долматского, как соблазняли его бесы, как они уловили его в свои сети и, наигрывая на дудках, восклицали: «Наш Исаакий! Да воспляшет с нами!» Когда на слушающих накатывалась дрожь и воздыхания, старец начинал увеселять их, не стесняясь в выражениях, побасенками о блудных деяниях монастырских и раскольничьих. Слушая его греховные речи, подвыпившие гости покатывались со смеху, улыбалась и Устинья. Затем старец, паки преподав благословение, уходил «еле можаху» к себе в подызбицу, уманив с собой, аки шаловливый бес, и мягкотелую бабищу Толкачиху, главную опекуншу над здоровьем государыни.

Вот этот старец праведный и был привлечен атаманом Каргиным в помощь к писарю Живетину. И старец Гурий постарался. Он написал такое воззвание к Симонову, что даже матерые, видавшие виды казаки ахнули. В письме были включены разные непристойные слова по адресу императрицы Екатерины, и собрание старшин, под давлением богобоязненного атамана Каргина, решило, что «не должно священную особу государыни так поносить, что это не только дурно, но и противно богу». В конце концов был позван сидевший в арестантской избе «шибкий грамотей» беглый солдат Мамаев. Он и занялся исправлением борзописных трудов старца Гурия.

«Всем уже не безызвестно, – начиналось послание, – на каких основаниях Российское государство лишилось всемилостивейшего своего монарха от злодеев нашего возлюбленного отечества». Далее, после своеобразного описания, как сие произошло, в письме говорилось: «Егда императрица Елизавета Петровна, отыде на вечное блаженство, соизволила скипетр Российского государства вручить природному наследнику, великому нашему государю Петру Федоровичу, и все государство ему присягало. И вы не причастны ли были той

же присяге? И равным образом той же казни божией будете достойны, яко отступники-нарушители христианского закона, что изгнала государя своего». Письмо заканчивалось так: «Да полноте нас стращать и угроживать. Мы страстей ваших очень не опасны. Ежели хотите вы идти против нас, то мы давно милости просим, идите, а по вашему предложению быть ничего во удовольствие вам не может и переписок никаких больше принимать от вас не хотим. А от государя нашего прислано полное наставление, чтоб с вами поступать сперва сердечно, по-христиански. А видно, вы не хотите совсем его величеству служить и повиноваться, так и полно вами более дорожить».

Это письмо было вручено Симонову. Подъехавшие под стены крепости казаки кричали солдатам:

– Эй, служивые! Довольно вам голодать, сдавайтесь! Все царицыны войска батюшка побил. Уфа батюшкой взята, Казань с Самарой взяты! А Оренбург, в самой крайности, с голодухи пухнет. Сдавайтесь подобру-поздорову.

А солдатки, имевшие жительство в городке, по наущенью казаков голосили:

– Эй, мужнишки, кисла шерсть! Сажайте своего коменданта с офицерами в воду да вылазьте из крепости!

Чтобы поднять среди гарнизона смуту, подсылались в ретраншемент разные беглые солдаты, погонщики, отчаянные казаки. Полковнику Симонову огромных трудов стоило держать голодающий гарнизон в повиновении. Он внушал защитникам, что от мятежников нельзя ожидать теперь пощады, так уж не лучше ли умереть с честью, без нарушения присяги.

На помощь извне никакой надежды у Симонова не было. Напротив, в начале апреля явился в городок атаман Овчинников с остатками воинских сил, уцелевших под Татищевой. Таким образом, силы осаждающих значительно возросли, силы же осажденных с каждым днем иссякали. Их донимал голод, холод. Солдаты вываривали лошадиные обглоданные собаками кости, даже ели мясо лошадей, павших сапом. А когда все было съедено, варили из глины подобие киселя и им питались.

А весна все ширилась, сгоняла последние сугробы по сыртам. Всюду дружная капель и солнце, на деревьях набухали почки, воробьи и разные птички-свиристелочки словно с ума сошли, голосистый жаворонок завел свою нескончаемую песенку, в лесной чащобе закуковала кукушка.

Трудно душе человеческой по весне в неволе быть, в окруженной врагами крепости… Еще труднее умирать…

…Настало 14 апреля. Ранним утром, когда солнце, озаряя весенние небеса, выплывало из-за горизонта, дозорный приметил с крепостной церкви необычное в городке движение. Он тотчас сообщил коменданту. И вот все начальство и кто мог держаться на ногах высыпали на вал крепости.

С вала было видно, как из городка большими партиями выходят и выезжают казаки. Они в полной боевой готовности – с пиками, с ружьями, с двумя знаменами. Их провожают женщины и дети.

– Гляньте-ка, гляньте, Иван Данилыч! – обращаясь к Симонову, радостно кричит капитан Крылов. – И пушки за ними… Раз, два, три… Пять! А ведь это неспроста, ей же богу, неспроста!..

– А знаете что? – взволнованно бросает Симонов рядом стоявшему с ним Крылову. – Это значит, что к нам выручка идет… А казачишки навстречь… Уж поверьте… Слава богу, слава богу! – Симонов крестится, и шрам на его щеке от прилива крови синеет.

Все защитники сразу взбодрились. «Как будто мы съели по куску хлеба, которого давно не видывали, и это укрепило наши силы», – вспоминали они впоследствии.

Симонов не ошибся. Накануне, в начале ночи, разъезды донесли войсковому атаману Каргину, что по направлению к Яицкому городку движутся воинские отряды. Тогда атаман Овчинников ночью всех поднял на ноги, перед утром сформировал отряд из пятисот казаков, части заводских работников с калмыками, взял пять пушек, и вот громада выступает из городка в поле, чтоб задержать врага.

Тем временем генерал-майор Мансуров, совместно с Г.Р. Державиным, 6 и 7 апреля заняли крепости Озерную, Рассыпную и Илецкий городок, в котором разогнали толпу мятежников и захватили четырнадцать пушек. Подойдя к Иртетскому форпосту и рассеяв пушечными выстрелами передовой отряд яицких казаков, Мансуров принужден был остановиться. «Ведь транспорт мой, будучи на санях, стал, – доносил он Голицыну. – Здесь снег весь пропал, на санях продолжать путь никак не можно».

Не дожидаясь сформирования колесного транспорта, Мансуров пошел вперед и возле тесного прохода у речки Выковки, недалеко от Рубежного форпоста, встретил Овчинникова.

Началось военное состязание. Казаками руководили Овчинников, Перфильев, Дягтярев.

Генерал Мансуров, выставив на берегу Выковки семь орудий, начал переправу. В первую голову переправились выступивший из Оренбурга Мартемьян Бородин со своими казаками и подполковник Бедряга с тремя эскадронами кавалерии. Затем переправилась пехота. Для пугачевцев бой был неудачен: артиллерия Мансурова работала прекрасно и действия частей его отряда были хорошо согласованы, тогда как пушки мятежного казачества отстреливались вяло. А самое главное, силы сражающихся были слишком неравны: на каждого пугачевца приходилось по два мансуровца. Под конец боя мятежники, дрогнув, побежали. Дегтярев с двумя хорунжими попался в полон, Овчинникову же с Перфильевым с частью казаков удалось прорвать окружение и скрыться в степи.

С вала Яицкой крепости гарнизон не расходился. Солдаты с офицерами чутко прислушивались к отдаленным раскатам боя. Под конец дня осажденные заметили, как в городок спешно въехала толпа разбитых казаков, и вскоре прозвучал с колокольни набат, что означало «собраться в круг».

Спускались сумерки. В городе началась невиданная суматоха. Всюду слышалось: «Наших побили, генерал идет!» Зажиточные и степенные казаки подняли головы, издевательски кричали: «А-а-а, достукались со своим царем-то, сучьи дети!» Ударили два выстрела. Богатенький упал, свалился и пробегавший пугачевец.

Богатенькие со степенными рыскали по городку, ловили поставленных Пугачевым атамана и старшин. Были схвачены старик Каргин, Михайло Толкачев, Денис Пьянов и другие.

В подызбице Устиньина дворца грохот, звяк выбиваемых стекол, приглушенные крики «караул». Там вяжут пьяного, лютого на драку старца Гурия. Прислушиваясь к нарастающему уличному шуму и гвалту в нижнем этаже, Устинья хватается за голову, всплескивает руками, носится взад-вперед по горнице. Вот, вскинув брови, она упала пред образом, с жаром молила: «Господи, спаси нас!» Затем вскочила, сорвала с себя дорогое ожерелье, швырнула на пол. Глаза ее пылали, ноздри вздрагивали, грудь тяжело вздымалась. Две девки-фрейлины вязали узлы с добром, подвыпившая баба Толкачиха, опрокинувшись на диван, рыдала в голос. Петр Кузнецов посунулся было к дочери: «Устиньюшка, дитятко…», но она оттолкнула его. Вихрем ворвался с улицы брат Устиньи, Адриан, и зашумел:

– Беги скореича! Казачишки поскакали уж.

– Лошадей! – закричала Устинья и выбежала во двор. – Стража, лошадей! Тройку! Сани!

– Дороги рухнули, ваше величество, – с обидным хохотом откликнулись люди. – Казаки, хватай царицу!

Устинья метнулась в сени, поднялась наверх, за нею громыхали богатенькие, шумели в ее горенке:

– Будет, Устинья Петровна, поцарствовала! – Они подхватили Петра Кузнецова под руки. – Идем, идем, старик, не упирайся…

– Куда?

– К Симонову, вот куда.

Устинья сгребла со стола остро отточенный хлебный нож и, закричав:

– Вон отсюда, гадюки, вон, предатели! Геть, геть! – кинулась на казаков. В безудержном порыве своем она была страшна.

Безоружные богатеи, сразу перетрусив, побежали к выходу и, подталкивая друг друга, с руганью скрылись за дверью.

– Не поддамся вам, гадюки!.. – буйно выкрикивала она и никого уже не примечала: ни плачущего отца с Толкачихой, ни брата Адриана.

– Господи, боже наш… Что с нами будет, что будет! – скулила Толкачиха, ей вторил старый Петр.

Адриан надрывался из сенец, наваливаясь плечом на дверь:

– Родитель-батюшка, сестрица! Заперли нас…

Устинья, не выпуская из рук ножа, металась от стены к стене, искаженное отчаяньем лицо ее то вспыхивало, то белело. Вдруг она увидела в окно привязанную у прясла лошадь под седлом, сильным ударом распахнула раму, выпрыгнула из второго этажа на улицу и, доскочив к коню, занесла в стремя ногу… Крепкие руки схватили ее сзади:

– Стой, баба!

И еще набежали казаки. Устинья, ослабев в неравной борьбе, взмолилась:

– Батюшка! Царь-государь! Пошто ты оставил меня? Пошто спокинул свою молодешеньку?!

Только тут она пришла в себя, из глаз ее разом хлынули слезы.

Когда сумерки сгустились, шумная толпа, главным образом зажиточных и степенных казаков, подступила к ретраншементу. Симонов скомандовал: «Огонь!», и по толпе загрохотали крепостные пушки. Мятежники подняли белый флаг и закричали:

– Не стреляйте!.. Мы с повинной! Признаем ее величество государыню Екатерину…

– Выдавайте главных предводителей! – в свою очередь закричал с валу немало изумленный Симонов.

– Ведут, ведут!.. Из кузни всех наших смутьянов ведут… – откликнулись казаки. – Овчинников с Перфильевым бежали, а к дому Устиньи Кузнецовой мы караул приставили!

Вот, в сопровождении казачьего отряда, показались скованные десять человек: атаманы – Каргин, Михайло Толкачов, Денис Пьянов и прочие.

Гарнизон подкрепился пищею, доставленною сложившими оружие казаками.

На следующее утро, 16 апреля, вступил в Яицкий городок генерал-майор Мансуров и ненавидимый бедняцкой стороной старшина, полковник царской службы, Мартемьян Бородин, или, как его звали в народе, «жирный Матюшка».

Один из участников обороны в своих записках говорил: «Радость освобожденных от осады трудно описать. Самые те из нас, которые от голоду и болезни не поднимались с постели, мгновенно были исцелены. Все было в движении: разговаривали, бегали, благодарили бога и поздравляли друг друга».

Из Яицкого городка многие казаки, оставив свои жилища, разбежались: с ними утекли все жившие в городке бродяги беспаспортные. Но старец Гурий и беглый солдат Мамаев, два сочинителя письма к Симонову, были схвачены и вскоре попали на допрос к Державину.

Для окончательного очищения окрестностей от мятежных толп, а также поимки «ушлецов» генерал Мансуров сформировал два отряда – Муфеля и Державина.

Тем временем в конце Страстной недели атаманы Овчинников и Перфильев, с ними сорокалетний Изюмов и около двухсот яицких казаков, перейдя речку Чаган, остановились. Настроение у всех было тревожное, унылое. Как будто пригнали людей на край крутого обрыва, преградившего все пути-дороги, и толкают в пропасть, в темное провалище.

Овчинников, разыскав образ спаса у жившего на берегу скрытника, сделал закличку «в круг». Образ был прикреплен к столетнему осокорю. Овчинников обратился к кругу:

– Вот, братья казаки, сами видите, положение наше хуже некуда. Нам всем предлежит государя отыскать, к нему, отцу нашему, прилепиться. Без него пропадем мы, с ним жизнь увидим и дыхание наше не скончается. Братья казаки! Не отставайте от меня, следуйте за мною, я вас выведу к батюшке, и станем служить ему до последней капли крови. Кто в согласье, целуй образ спасов со усердием, кто не в согласье, отъезжай прочь, тот нам больше не товарищ!

Казаки кричали:

– Идем за тобой! Только ты, Андрей Афанасьич, не спокинь нас! Нам один путь: альбо к царскому самодержавству, альбо затыкай хвосты за пояс, да и за Кубань!

Все как один они обнажили головы и двинулись чередом лобызать старинную икону. Первым приложился Перфильев.

Переночевав, все двинулись по бузулукской дороге.

Длиннолицый, горбоносый Овчинников взглянул умными глазами в угрюмое лицо ехавшего с ним рядом Перфильева и сказал:

– Вот видишь, дружок Перфиша, дела-то какие. А давно ли, кажись, ты из Питера вернулся, да мы с тобой за чарочку держались.

– Да, брат, да-а-а-а, – вздохнув, протянул Перфильев.

– Был Яицкий городок, и нет его… Был царь-батюшка, и того затеряли мы… В аккурат, как лягушки: болото высохло – и мы во все стороны поскакали.

Вскоре отряд переправился через реку Сакмару и вступил в Башкирию. Здесь Овчинников стал чрез башкирцев разыскивать затерявшиеся следы Пугачева.

4

Весть об освобождении Яицкого городка уже не застала генерал-аншефа Бибикова в живых. Он успел получить известие об освобождении лишь Оренбурга и Уфы. Наладив наступление на действующие в крае многочисленные группы восставших и на главные силы Пугачева, генерал-аншеф решил перебраться в центр событий. Для окончательного успокоения края Бибиков создал несколько отрядов, составивших вторую, тыловую линию, передал команду этими отрядами князю Щербатову и выехал из Казани в Кичуевский фельдшанец.

Условия жизни здесь были бивуачные, весьма тяжелые, главнокомандующий квартировал в плохом и сыром помещении, без нужных в обиходе вещей (обоз с его имуществом еще не приходил). Беспрерывная работа днем и ночью, напряженное состояние духа надломило здоровье Бибикова, и в конце марта месяца он тяжело захворал. «Лихорадка, посетившая меня в сие время, – писал он, – мучает меня, и я неподвижно лежу в постеле».

Превозмогая болезненное состояние и почувствовав себя бодрее, Бибиков переехал в Бугульму. Дорогою он простудился, в Бугульме болезнь его усилилась, опытного врача возле него не было, и он слег окончательно.

Из Бугульмы Бибиков отправил Екатерине через силу написанное прощальное послание. Между прочим он сообщал: «Поспешил бы я, всемилостивейшая государыня, прибытием моим в освобожденный ныне Оренбург, если бы приключившаяся мне жестокая болезнь меня здесь не остановила, которою в такое изнеможение приведен, что не имею почти никакого движения, едва только могу приказывать находящемуся при мне гене-

рал-майору Ларионову, который, повеления мои подписывая, в разные места рассылает…» 9 апреля Бибиков скончался.

Тело генерал-аншефа, под прикрытием эскадрона карабинеров, было перевезено из Бугульмы в Казань и поставлено в приделе собора впредь до отправления, согласно воле покойного, Волгой в его костромское имение.

Бибиков не оставил своему семейству никакого состояния, небольшое имение его было заложено. Екатерина пожаловала его семье в Могилевской губернии несколько деревень с угодьями. Она очень сожалела о его кончине.

Однако глубоко переживать эту утрату Екатерина была не в состоянии: вся ее душевная деятельность была в это время направлена к возвышению генерал-поручика Григория Александровича Потемкина, своего нового кумира.

На этот раз сердце и разум Екатерины шли рука об руку, она в своем выборе не ошиблась: Григорий Потемкин представлял собою персону крупного государственного размаха.

Во время переворота 28 июня 1762 года, то есть двенадцать лет тому назад, когда Екатерина была возведена на престол, Потемкин принимал в перевороте участие в качестве всего лишь вахмистра конной гвардии. После этого он был замечен императрицей, стал ей лично известен, быстро пошел вперед по службе. Вскоре Екатерина писала ему: «Вы умны, вы тверды и непоколебимы в своих принятых намерениях. Мне кажется, во всем ты не рядовой, но весьма отличаешься от прочих».

На заседаниях Большой комиссии в 1767 году, в Грановитой московской палате, камер-юнкер Потемкин являлся представителем интересов инородцев. Двадцать два депутата башкирцев, татар, калмыков и других народностей выбрали его своим защитником. В следующем году он был пожалован действительным камергером, стал часто бывать на придворных куртагах, вел остроумные беседы с Екатериной.

Князь Григорий Орлов усмотрел в этом «марьяже» прямое посягательство на свое личное достоинство. Хотя фаворитом Васильчиковым он и был отодвинут на задворки в сердце коварной императрицы, хотя, невзирая на все попытки, он и не надеялся восстановить былой взаимности с Екатериной, тем не менее он продолжал жить во дворце и пользоваться покровительством ее величества. И вдруг новое, неслыханное вероломство… Он почувствовал себя в высшей степени оскорбленным и устроил Екатерине сцену ревности. С присущей ему бесшабашной прямолинейностью он не удержался бросить:

– Ну, матушка, либо я, либо этот мастодонт со стеклянным глазом! Выбирай.

Екатерина только вздохнула. Она предвидела подобный оборот дела. Но какой же тут может быть разговор… Не будь Гришеньки Орлова, она была бы, может статься, не самодержавной императрицей, а всего лишь регентшей при малолетнем Павле. И теперь ей ничего не оставалось, как под разными благовидными предлогами на время удалить Потемкина от своего двора.

Не принадлежа ни к одной из враждующих партий – ни Орлова, ни Панина, – Потемкин, будучи человеком военным, решил посвятить себя делу начавшейся Турецкой войны. Вскоре состоялось повеление Екатерины: «Нашего камергера Григория Потемкина извольте определить в армию», – писала она графу Захару Чернышеву.

Под руководством фельдмаршала Румянцева Потемкин сразу же зарекомендовал себя выдающимся военачальником. В крупной битве при Фокшанах генерал-майор Потемкин, по свидетельству Румянцева, «был виновником одержанной тут победы». Почти на протяжении всей войны Потемкин, командуя крупными отрядами, то отражал атаки турок, то разбивал их армии. Так, 12 июня 1773 года, подходя к крепости Силистрия с кавалерией и легкими войсками, он опрокинул неприятеля, «отнял весь лагерь и артиллерию всего турецкого корпуса, выведенного из города Осман-Пашою».

Фельдмаршал Румянцев назначал Потемкина на самые ответственные места как человека энергичного, с отличной военной репутацией. «Со всей охотой, – отвечал Потемкин, – желаю я исполнить волю вашего сиятельства и с радостью останусь, где угодно будет меня определить». Всю осень Потемкин провел со своим корпусом против Силистрии, почти ежедневно бомбардировал крепость, отражал вылазки, нанося туркам превеликий вред и страх.

Вдруг… неожиданное собственноручное письмо от императрицы:

> «Господин генерал-поручик и кавалер! Вы, я чаю, столь упражнены глазеньем на Силистрию, что вам некогда письма читать; и хотя я по сю пору не знаю, преуспела ли ваша бомбардирада, но тем не меньше я уверена, что все то, что вы сами предприимлите, ничему иному предписать не должно, как горячему вашему усердию ко мне персонально и вообще к любезному отечеству, которого службу вы любите. Но как с моей стороны я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то вас прошу по пустому не вдаваться в опасности. Вы, читав это письмо, может статься, сделаете вопрос: к чему оно писано? На сие вам имею ответствовать: к тому, чтобы вы имели подтверждение моего образа мыслей об вас, ибо я всегда к вам весьма доброжелательна».

Потемкин тотчас догадался, «к чему сие письмо писано», и, бросив все дела, в январе 1774 года прибыл в Петербург, затем в Царское Село, куда случайно в разгар зимы выехала Екатерина, и был принят ею с честью.

Полтора месяца спустя Потемкин был пожалован в генерал-адъютанты «ее императорского величества», то есть облечен наивысшим доверием женщины-императрицы.

С этого момента начинается «царствование» Потемкина, или, вернее, его соцарствование с Екатериной.

Счастливая Екатерина не преминула поделиться своей радостью с Бибиковым, которому в то время было вовсе не до этого.

«Во-первых, скажу вам весть новую, – писала ему императрица. – Я прошедшего марта 1 числа Григория Александровича Потемкина, по его просьбе и желанию, к себе взяла в генерал-адъютанты, а как он думает, что вы, любя его, тем обрадуетеся, то сие к вам и пишу». Заканчивалось письмо так: «А я, глядя на него, веселюсь, что хотя одного человека совершенно довольного около себя вижу».

Она написала было: «хотя одного подданного», но, подумав, переменила «подданного» на «человека».

Бибиков получил это письмо за три недели до смерти. Он только головой покачал на сердечные несвоевременные причуды «всемилостивой матушки».

Граф Сольмс в депеше королю Фридриху II писал: «При дворе начинает разыгрываться новая сцена интриг и заговоров. Императрица назначила генерала Потемкина своим генерал-адъютантом, а это необыкновенное отличие служит признаком величайшей благосклонности, которую он должен наследовать от Орлова и Васильчикова. Потемкин высок ростом, хорошо сложен, но имеет неприятную наружность, так как сильно косит. Он известен за человека хитрого и злого, и поэтому выбор императрицы не может встретить одобрения».

Граф Сольмс отчасти был прав. Обе партии – великого князя Павла Петровича, во главе которой стоял граф Никита Панин, и партия братьев Орловых – были поражены каждая по-своему и недовольны новым выбором.

Но, с другой стороны, хотя Потемкин и стал твердой ногой между интригующими партиями, однако он счел для себя удобным временно перейти на сторону Никиты Панина. Потемкин прекрасно понимал, что Никите Панину приятно все то, что способствует уменьшению власти Орловых и влияния князя Григория Орлова на Екатерину.

Вскоре, к обоюдному удовольствию Потемкина и Панина, между Екатериной и Григорием Орловым произошла окончательная размолвка. Он и его партия запротестовали против необычайно быстрого возвышения Потемкина по служебной лестнице. Так, 5 мая Потемкину было повелено заседать в Государственном совете, 30 мая он назначался помощником графу Захару Чернышеву в звании вице-президента Военной коллегии, а 31 мая – генерал-губернатором Новороссийской губернии и главным командиром войск, там поселенных.

Словом, ревность и оскорбленное достоинство переполнили чашу Григория Орлова. После бурного объяснения с Екатериной он вынужден был просить позволения удалиться на пять недель в деревню, что ему и было разрешено.

Навсегда освобожденная от Орлова, Екатерина писала Потемкину: «Только одно прошу не делать – не стараться вредить князю Орлову в моих мыслях, ибо я сие почту за неблагодарность с твоей стороны… Он тебя любил, а мне они друзья – я с ними не расстанусь».

Впавший в мрачное отчаянье Орлов ударился в пьянство. Окруженный сочувствующими ему бражниками, он злобно кричал по адресу Потемкина:

– Я знаю, что с ним сделать! Я разотру его, как пыль! Гог-магог и тот не смеет против меня идти!.. Меня Европа, вся Европа меня трепещет… Ко мне бог милостив…

Вскоре выехал из дворца и последний неудачный фаворит Васильчиков.

«Васильчиков, – писал Роберт Гуннинг графу Суффольку 4 марта 1774 года, – любимец, способности которого были слишком ограничены для приобретения влияния в делах и доверия своей государыни, теперь заменен человеком, обладающим всеми задатками для того, чтобы овладеть тем и другим в высочайшей степени».

В дальнейшем Потемкин назначается командующим всей легкой кавалерией и всеми казачьими войсками, влияние графа Захара Чернышева сходит на нет, он подает в отставку. Президентом Военной коллегии вместо него становится Потемкин.

И почти все дела по борьбе с Пугачевским восстанием (с конца августа 1774 года) переходят в руки этого человека.

5

Петербург был в радости. Петербург то и дело получал с востока обольщающие известия: главная армия мятежников разбита под крепостью Татищевой, Пугачев из Берды бежал. Оренбург освобожден. Правительство было почти убеждено, что сила восстания сломлена, остается лишь успокоить население и переловить отдельные мятежные шайки, лишенные общей между собой связи.

Поэтому, назначая после кончины Бибикова главнокомандующим князя Щербатова, Екатерина определила ему возглавить лишь военные, действующие против Пугачева силы, а все административные дела, в том числе и усмирение бунтующего населения, предоставить губернаторам, каждому в своей губернии. Таким образом неограниченная власть, которою обладал Бибиков, была у нового главнокомандующего изъята. В Казани к тому времени скопилось сто семьдесят колодников-пугачевцев, в Оренбурге – до четырех тысяч семисот. Нужно было торопиться снимать с них допросы. И поэтому вместо одной были образованы две секретных комиссии: одна в Казани, другая в Оренбурге. Дополнительно отправляя в эти комиссии новых офицеров, Екатерина в своем указе, между прочим, писала, чтоб они «при допросах по тайным делам ни малейшего истязания не делали». А между тем в самой столице, охраняя престол Екатерины и не без ее, конечно, ведома, свирепствовал вовсю обер-секретарь Сената, палач «кнутобойник» Шешковский.

Уезжая из Казани в Оренбург, князь Щербатов доносил Екатерине, что в Казанской губернии «волнование народное совершенно прекращено и бывшие в предательстве – в законном повиновении находятся». Такого же мнения был и престарелый Брант.

Однако в казанских краях было не так уж спокойно, и «волнование народное», погаснув в одном месте, внезапно вспыхивало в другом. Между городами Мензелинском и Осою свободно бродили мятежники. Против них Брант отправил секунд-майора Скрипицына. Другой отряд под командой Берглина преследовал восставших башкирцев по реке Тулве. Тысячная толпа их отошла к северу и бродила по Пермской провинции, в Красноуфимске «колобродили» казаки, поджидавшие к себе Салавата Юлаева, скитавшегося с башкирцами за рекой Уфой.

Как только генерал Мансуров занял Липкий городок, ставропольские и оренбургские калмыки с женами, детьми, скотом, в числе шестисот кибиток, бежали в сторону Башкирии на соединение с Пугачевым. После нескольких упорных стычек с правительственными отрядами калмыки всякий раз разбегались, но снова сходились вместе. Около двух тысяч калмыков были настигнуты и разбиты на переправе через реку Ток. От полного пленения они спаслись чрез хитрость своего предводителя Дербетова. В разгаре боя он приказал зажечь степь. И вот степь заклубилась огнем и дымом. Ветер шел на солдат и казаков. Преследующий отряд стал задыхаться в дыму и пламени и вскоре, спасаясь от гибели, разбежался. Калмыки той порой перебрались через реку и пошли по самарской линии уничтожать мелкие крепости и форпосты. В конце концов высланный генералом Мансуровым из Яицкого городка значительный отряд стал преследовать Дербетова. Калмыки, спешно отступая, бросали на пути усталых лошадей, верблюдов и даже своих жен, спешили укрыться в вершинах Иргиза. Произошел бой, многие калмыки попали в полон и были отправлены в Оренбург; раненый их вождь Дербетов дорогою умер.

Тем временем князь Голицын, получив известие о бегстве Пугачева в Башкирию, сформировал для преследования мятежников два сильных отряда – генерал-майора Фреймана и подполковника Аршеневского.

Подполковник Михельсон, освободивший Уфу и пленивший Зарубина-Чику, был застигнут в Уфе ледоходом. Он намеревался выступить к Симскому заводу, где, по его мнению, бродил Белобородов с тысячной толпой и неподалеку от него Салават Юлаев с тремя тысячами башкирцев. Михельсон рассчитывал, уничтожив эти бунтующие сборища, повернуть к Белорецкому заводу, куда будто бы направился Пугачев.

Наступившая распутица значительно задерживала движение всех правительственных отрядов.

Военачальники Щербатов, Голицын, Мансуров и прочие, разъединенные между собой пространством, раскинув каждый на своем месте топографическую карту, судили и рядили, каждый на свой лад, куда бы выслать им воинские отряды, дабы как можно скорей и успешней окружить Пугачева, попутно пресекая на местах волнение народное. Но беда военачальников заключалась в том, что сам Пугачев был как бы прикрыт шапкой-невидимкой – где он, кто с ним? И военачальникам волей-неволей приходилось бороться с ветром, с пустотой, с неуловимым призраком. Одни из отрядов спешно посылались выставить заслоны на таких-то и таких-то реках, чтобы самозванец оказался в ловушке, другие отряды спешили занять те или иные населенные пункты с той же целью окружить Пугачева, но Пугачев в это время находился от них за сотни верст. Третьи военачальники, например Михельсон, отыскивая затерявшийся след самозванца, тянули, попросту говоря, «верхним чутьем», как породистые собаки. Они свои действия зачастую основывали на ложных показаниях и бесплодно бросались то в одну, то в другую сторону. Вся эта, естественная в тех условиях, неразбериха была на пользу Пугачеву, позволяя ему осмотреться и усилиться.

Мы знаем, что вместе с Кинзей и остатками своего воинства Емельян Пугачев направился из села Ташлы в Башкирию. По дороге он получил известие о занятии Уфы Михельсоном и пленении Зарубина-Чики.

Как ни старался Пугачев взбодриться, это ему не всегда удавалось. Легче, кажется, пережить потерю отца-матери, нежели лишиться таких своих верных помощников, как Падуров, Шигаев, Горшков, Зарубин-Чика, Ваня Почиталин, старик Витошнов и другие. Сердце его томилось, однако на людях он держался бодро. И выходило это не потому только, что он того желал, но, главным образом, потому что люди были для него как подпора одинокому дубу в бурю. Чем больше верных людей вокруг, тем крепче, спокойней сердцу.

– Не унывай, детушки! Не клони головушек своих… Весна идет, а там и летичко. Бог велит, во здравии будем и с победой…

Небольшой Вознесенский завод, куда они прибыли, встретил царя-батюшку с честию. Чтоб снова «поставить на колеса» свою Военную коллегию, лишившуюся нескольких руководителей, Пугачев пожаловал в секретари казака Шундеева, а в повытчики – заводского мастерового из хорошо грамотных раскольников – Григория Туманова.

Чернобородый, приземистый, с большими глазами и широкими крылатыми ноздрями, Туманов сразу внушил к себе доверие Пугачева.

– Горные заводы наши рады будут, что вы припожаловали на Урал, батюшка, – было первым словом этого человека. – И помощь вам окажут в людях и в оружии.

– Верю, брат Туманов, верю! Да ведь и я так разумею. Люди заводские из крепких крепкие. Довольно присмотрелся я к ним. Да вот беда: как сражение, так и отхватят у меня сотни две. А пошто так? Ан дело-то, видишь ли, выходит просто… Как сшибка, иные помашут дубинками да и бегут врассыпную, как цыплята. Ну, а заводские, те до последнего бьются: кои ранение получают, кои смерть. Эх, кабы не они, заводские, да не казаки-молодцы, не выдюжить бы нам. Ась?

– Справедливы ваши речи, батюшка.

Повелением Пугачева новые члены коллегии составили указы башкирским старшинам и заводскому населению о наборе вооруженных людей и о присылке их в стан государя. Указы подписывал Иван Творогов, к ним ставились сургучные печати с изображением Петра III.

Были также разосланы указы с требованием, чтоб население в окрестностях Челябинска и Чебаркуля готовило фураж и печеный хлеб «для персонального нашествия его величества с армией».

Пугачев, забрав на Вознесенском заводе годных для службы людей, перешел на Авзяно-Петровский завод, покоренный прошлой зимой Хлопушей-Соколовым. Здесь он осмотрел тринадцать отлитых для него чугунных пушек, поблагодарил работных людей за старание, выдал им денег, а некоторым, как, например, дяде Митяю, и медали.

Вешая медаль на грудь дяди Митяя, Пугачев говорил:

– Я тебя помню. Ведь ты у меня в Берде был. Сказывал мне про тебя Хлопуша, как ты с медведем да с капралом бился в тайге. И про то сказывал Хлопуша, как ты у старца праведного в землянке жил. А теперь вот ты главный здесь.

– Твоим веленьем, батюшка… Стараемся…

– Служи!

Прихватив с собой часть людей, провиант и сено, Емельян Иваныч двинулся дальше, к Белорецкому заводу. По причине весеннего бездорожья пушек он не взял, приказал доставить их в армию при первой возможности.

В Белорецком заводе пугачевцы провели всю пасхальную неделю. Первые два дня праздника было вдосыт попито-погуляно. Затем Пугачев с горячностью взялся за дело. Кой-как налаженная Военная коллегия продолжала, с помощью старшины Кинзи Арсланова, рас-

сылать по Башкирии манифесты и указы. Отовсюду начали стекаться башкирцы, татары, заводские люди, калмыки, казаки, беглые солдаты. Емельян Пугачев приступил к комплектованию и устройству новой армии. Ему усердно помогали в том Андрей Горбатов, а равно и полковник Творогов.

Однако, после Берды, с Твороговым начало твориться что-то неладное: он принялся почасту выпивать, даже под выговор «батюшки» себя подвел.

Заметно Творогов стал охладевать ко всей этой азартной игре в войну, к этой страшной, но заманчивой затее. Эх, видно, сам черт бросил его в руки «батюшки»! Сидеть бы Творогову со своей разлапушкой-женой в собственном, крепко налаженном доме, ведь достаток у него немалый, ведь он сотник был, а вот на, вот видишь, что подеялось. Ради каких это выгод он обрек себя на опасную скитальческую жизнь? Людям во вред, своей безрассудной голове на погубу. Мало ли у них сгинуло народу: где Шигаев, где Падуров да Горшков Макея, где Витошнов с Ваней Почиталиным. Эхма!.. Да и Стеша… Удавить бы ее, непутевую, только жаль… ведь она к его сердцу живой кровью приросла… Ну, допустим, «батюшка» есть прирожденный царь-расцарь, Творогову-то от этого не легче, нешто Творогов не знает, что Стеша вот как ублажала «батюшку» и навовсе согласна бы уйти к нему… Не зря же при всей любови его к изменнице Иван Александрович сколько раз принимался колошматить, трепать за длинные косы вероломную, ветреную Стешу. Да… Только тридцать два года ему стукнуло, а глянь – в черные кудри его стала вплетаться седина и весь молодцеватый вид его начал как-то блекнуть, как в знойное лето степь.

Однажды в минуту душевного волнения подвыпивший казак непрошенно вломился в хибарку Горбатова, взял его за рукав и, задвигав бровями, молвил:

– Слышь, офицер, ваше благородие. Душа у меня чегой-то закачалась, сон пропал. Ответь по правде истинной: царь ли он, наш батюшка?

– Что ты, Иван Александрыч! – с возмущением вскинул Горбатов свое открытое чистое лицо, обрамленное волнистыми белокурыми, подрубленными по-казацки волосами. – Без сомнения, царь… В противном случае ужли ж я пошел бы за ним? Самый доподлинный Петр Федорыч.

– На мою стать, ежели он, верно, Петр III, уйти бы ему опять к римскому папе в сокрытие… Тогда и мы бы разбрелись по домам. А то ему и нам худо будет.

– А ты почему же, скажи-ка, пошел за государем?

– Я? А по глупству!.. Овчинников с Горшковым подзудили – иди да иди… Ну, а ты пошто из офицерского званья приник к мужичью?

– Отнюдь не по глупости, Иван Александрыч. Я, так сказать…

– С высокого барского ума? – насмешливо и раздраженно перебил Творогов, потребливая свою темную бороду.

– Ну, уж с барского, – обиженно проговорил Горбатов. – Просто душа потянулась к государю, поскольку он свое знамя за бесправный народ поднял.

– Стало, народ ты пожалел? – Серые, хитрые, глубоко посаженные глаза Творогова ухмыльнулись. – А мне сдается, на вольную жизнь потянуло тебя, как осу на мед: всласть поесть да попить, в веселый марьяж с девками позабавиться… Вот ты из голодного Оренбурга-то и метнулся в нашу шайку… А теперь вот…

– Что?

– Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй!

Горбатов неприязненно прищурился на Творогова.

– Обидно мне от тебя слышать это, Иван Александрыч! Ей-ей, обидно. Ведь ты Военной коллегии судья и должность главного писаря до сей поры правишь. Нешто не ведомо тебе, что я выпиваю редко, а девки мне и на ум не идут? Да и зазорно было бы свою голову

класть за такое добро… Ведь головы-то наши считаны, Иван Александрыч, расплаты не избежать нам. Ну что ж, ведь на это мы и шли с тобой. Так ли?

В офицерскую избу вечерние сумерки вплывали. На столе – склянка с чернилами, два гусиных пера, песочница, исписанные листы бумаги – списки новоприбывших: кто с чем пришел, есть ли конь, каково вооружение. Творогов, все время стоявший возле офицера, покачнулся под ударами его слов – «не избежать расплаты», сел на скамью, опустил голову. Вздохнув и раз, и два, он уныло сказал:

– Всё в гору, в гору с батюшкой-то лезли, а теперь под гору бежим… Дерьмо наше дело, собачье дерьмо на лопате… От веселой нашей игры эвот я седеть начал, – казак уставился напряженным взором в пол, омраченное лицо его окаменело.

– Не печалуйся, Иван Александрыч, на нашем пути еще не одна гора и не одна удача будет. Силы накопим, по России с дымом, с грохотом пойдем! А крестьянства там, в России-то, да всякого обиженного люда великое множество… Пусть простой народ знает, что и у него есть заступники, что он, бездольный, может голову поднять да правды себе потребовать. Наше дело взбудить спящих, внушить им это. Понял ли меня, Иван Александрыч?

Творогов вскочил с места.

– Ты, господин Горбатов, точь-в-точь как Падуров говоришь… Эх, ни в ком в вас разума настоящего нет, ни в ком! – выкрикнул он, насупился и, не простившись с хозяином, быстрым шагом вышел вон.

На улице рабочего поселка, во дворах, на огородах и за пределами Белорецкого завода почти та же картина, что и в Берде: пестрые толпы народа, верблюды, кони, сияющие сквозь сутемень златогривые костры, говор на разных языках, крики, смех. У костров казаки вприсядку пляшут.

Движется шагом конная сотня башкирцев, лошади вспотели, над ними легковейное облачко, они притомились в быстрой, недавней дороге.

– Эй, котора место бачка-осударь? Кажи дорога! – вопрошает вожак башкирской сотни.

С презрением посматривая по сторонам, чинно и лениво шагает по дороге караван навьюченных верблюдов. Калмыки и киргизы, шумно перекликаясь, ставят свои «дюрты» из серой кошмы и решетчатых щитов, сколоченных из деревянных реек.

Четверо конных казаков, в их числе палач, есаул Иван Бурнов, и Ермилка. Вот они разъезжаются в разные стороны, останавливаются у каждого костра, громко возглашают:

– По приказу его величества, завтра с полден в поход!

Ермилка, подбоченившись, трижды играет в трубу, трижды возглашает. Он любит красоваться. На правой его руке золотое обручальное кольцо. Перед великим постом поп Иван венчал их с Ненилой в церкви. Ненила теперь пишется «казацкая женка Ненила Недоскокина».

Отец Иван, не отстававший от пугачевской толпы, на масленой неделе «соскочил с зарубки», снова ударился в пьянство, пропил обе пары сапог, подаренных ему Ванькой Бурновым, тот поучил его кнутом и пригрозил повесить. Но все обошлось благополучно.

Итак, над Уральскими горами предвесенние полыхают звезды, всюду немая, от земли до неба, тишина: птица не взлетит, собака не взбрехнет, все погрузилось в непробудный сон – завтра выступать. Все живое спит, но по окраинам и при дорогах дозорят люди: где-то, и, может быть, очень близко, коварный враг скрадом бродит, а где он, кто он – никому не известно: то ли князь Голицын, то ли Мансуров с Деколонгом, то ли Михельсон?

Карауль, казак, не больно-то любуйся звездами небесными, не клони на грудь отпетой головы своей, не верь могильной тишине – она обманна, чутко лови ухом каждый шорох, каждое дуновенье ветерка: из ветра родится буря.

Три всадника – Кинзя Арсланов, Горбатов, Чумаков – под лучистыми звездами едут проверять дозоры.

Глава III. Пугачев на Воскресенском заводе

1

Как только узналось, что «царь-батюшка» прошел Малые Ярки и приближается к Воскресенскому заводу, все работные люди с детьми и бабами высыпали на дорогу версты за две от заводских построек. Народ бежал, шел и ехал из деревни Александровки, что стояла у больших прудов за плотиною, а также из рабочего поселка, расположенного внутри завода.

Поселок, состоявший из немудреных хибарок, среди которых, впрочем, высились и обширные, изукрашенные резьбой избы, растянулся от земляного вала с деревянной стеной до так называемого канала. Хотя, в сущности, это не канал был, а небольшая речка Тора. У самой заводской стены речка была запружена плотиной, получилось многоводное озеро – «скоп воды», а дальше, в пределах заводского участка, речку Тору выпрямили, одев берега ее в бревна и доски, – получился канал.

Ежели залезть на высокую сосну, можно видеть, как вся заводская площадь, огражденная земляным валом, разрезана каналом на две части: на одной – рабочий поселок, на другой – управительская усадьба, контора, заводские мастерские, склады и церковь во имя Воскресения Христова, отчего и завод назван Воскресенским. На самом же канале стояли две вододействующие мельницы – лесопильная и мукомольная. Ни в рабочем поселке, ни даже в управительской усадьбе не было огородов, да и вообще на всем заводе не имелось никакой растительности – ни деревца, ни зеленой травки, и единственная сосна была мертвая. Эта пустынность участка – результат тлетворного действия смертоносных газов, изрыгаемых «домницами» и «штыковыми» горнами. И сами люди, жившие в поселке, немало хирели от газов. Испитые, бледные, с лихорадочно блестящими или вовсе потухшими глазами, они были физически еще сильны, но оставляли впечатление людей болезненных, как будто на солнечном Урале никогда не ласкало их горное солнышко.

…Народ бежит, бежит навстречу «царю-батюшке» и выстраивается по обе стороны дороги. Весь снег давно ушел в землю, деревья обтрясло ветром, на дороге старая хвоя, шлак, угольная пыль, песок.

– Едут! – дружно заорали парнишки.

Тысячная толпа зашевелилась, бородачи пятернями расчесали бороды, бабы оправили платки и полушалки, старенький попик в ризе вышел с клиром на средину дороги, две красивые молодайки в ярких сарафанах держали блюдо с хлебом-солью.

Показались желанные гости. Впереди полсотня казаков со значками-хорунками, за ними, окруженный близкими, сам «царь-батюшка» на крупном жеребце в наборчатой сбруе, возле него распушенное большое знамя. А позади – казаки отдельными сотнями, башкирцы и прочее войско. В хвосте – далеко растянувшийся обоз. И лишь только показался царь в своем зеленом суконном полукафтанье с позументами, толпа опустилась на колени.

– Встаньте, ребятушки! – крикнул Пугачев. – Вот я, царь ваш, прибыл проведать вас, нуждицу вашу посмотреть, каково живете. Не творят ли вам, рабочему люду, утеснения. Ведь я своего человека поставил над вами, Якова Антипова.

Лица у всех просияли довольными улыбками. Раздались бодрые выкрики:

– Яковом Антипычем мы не обижены… Тухлятиной он, как допрежь бывало, не кормит!

– И жалованья он, Яков-то Антипыч, по копеечке на день набросил. И харч подешевле супротив прежнего отпускает…

Слезать с коня Емельяну Иванычу помогли рыжебородый, с хохлатыми бровями Яков Антипов, поставленный управлять заводом, и мастер-литейщик Петр Сысоев. Емельян Иваныч приложился ко кресту, принял хлеб-соль от двух пригожих теток, пошутил с ними, затем спросил:

– Далече ль до завода?

– Да версты полторы, царь-государь. Ишь из-за лесу дымок валит. Ну-к, там.

– Гарно. В таком разе я пешком пойду. Поразмяться… А на моего коня, – усмешливо прищурившись, проговорил Пугачев, – посадите какого-нито старичка почтенного. Кто из вас самый старый-то?

– Да старей нашего батюшки, отца Панфила, никого нетути.

– Отец Панфил, садись, – сказал Пугачев. – Ермилка, подмогни попу вскарабкаться, – и пошагал по дороге.

Маленький попик, не сразу поняв, в чем дело, вытаращил глаза и со страху пошатнулся, затем, когда Ермилка, схватив его в охапку, стал подсаживать, попик закряхтел, а как сел в седло, расплылся в самодовольной улыбке.

Слегка придерживая левой рукой саблю, Пугачев шел своей сильной и легкой походкой столь быстро, что люди едва поспевали за ним. Пойдут, пойдут – да вприпрыжку.

У людей и хворь, какая была, кончилась; бабы с девками от быстрого хода разрумянились, похорошели, как вешние цветы; ребятишки, поспевая за пешим государем, сверкали голыми пятками, вполголоса перекликались меж собой.

По плотной дороге раздавался дробный цокоток кованых копыт и звяк оружия: то мерно двигалась пугачевская конница. Вот начался обоз: проехал фаэтон с какими-то красотками, возы сена, несколько телег с мукой и крупой, тарантас с Ненилой и расстригой попом Иваном. Поп курит трубку, поплевывает на дорогу и правит лошадью. Он в трезвой полосе теперь и на все руки мастер: приводит новых людей к присяге, поминает убитых в сражениях: «Помяни, господи, во царствии твоем нашего казака-воина Сергия, нашего есаула-воина Митрофания, нашего убиенного атамана-воина Андрея». Поминая их в молитвах, он упирает на слово «нашего», дабы в небесах не произошло путаницы, не смешали бы там за великими делами душу какого-либо голицынского злодея с праведной душой павшего за веру, царя и отечество, скажем, атамана Андрея Витошнова. Помогает он также на кухне, учит Ермилку и Ненилу азбуке, чистит «царю-батюшке» сряду, ловит для царского стола рыбу.

Пугачев, бывало, нет-нет да и пошутит с ним:

– Ты, поп Иван, вижу, стараешься… И прилепился ко мне крепко!

– Все упование мое в тебе, царь-государь.

– Ну, так я тебе попадью приглядел. Правда, что она из татарок, жена муллы, а муллу я повесил.

– А пригожа ли татарка-то, царь-государь, да молода ли?

– Прямо раскрасавица! И не перестарок, а в самом прыску.

– Не подходящее дело, царь-государь. Мне бы какую кривоглазую бабу-раскорячку.

– Ха-ха-ха… Пошто так?

– Молодую да красивую Ванька Бурнов себе приспособит.

Загудел, залился, рассыпался по всему лесу трезвон колоколов, и вслед за тем грянул с заводской батареи пушечный выстрел. Завод торжественно встречал своего заступника, по-царски.

Пока Пугачев ходил с атаманами и отцом Иваном в баню да после бани отдыхал, Андрей Горбатов готовился чинить государю подробный доклад о заводе. Он побывал в канцелярии, рассмотрел там планы, указы, побеседовал со старыми штейгерами, затем, уже вечером, направился в управительский дом, где остановился Пугачев.

Дом был хороший, просторный, в лапу рубленный из кондовых сосен. Пугачев со своими ближними поместился в небольшом, но уютном зальце. Под потолком бронзовая люстра, на столах и по стенам бронзовые же подсвечники, кенкеты, шандалы – все эти отличные, тонкой работы, вещи были отлиты здесь же, на заводе. Большой, из латуни, самовар, тоже местного изготовления, пускал на столе пары и шумел, как сухой веник, когда им с усердием метут полы. Пугачев с атаманами и Кинзей Арслановым, держа зажженные в подсвечниках свечи, столпились возле висевшей на стене картины. Они звонко хохотали, отпускали чудаковатые словечки по поводу изображенной на облаках голой красотки.

– Слышь, Чумаков, – прыская в горсть, шутил Творогов. – Да уж не твоя ли это духовная? Вишь, развалилась, и левая ножка у нее кабудь покороче…

– Ты тоже брякнешь, – притворно обидчиво возразил Чумаков, уткнув в грудь широкую, с проседью, бороду.

– А до чего гладка, до чего гладка! – восторгался Творогов, рассматривая картину. – Не ущипнешь…

– Я видел девку, – проговорил хмурый усатый Данилин, – ну, так та горазд поздоровше этой будет. Она щеки да шею жиром смазывала, ее, вишь, застращали, что, мол, кожа лопнет…

– Стой! Я знаю, кто это срисован, – сказал Пугачев, освещая картину свечой. – Это либо Апраксина графиня, либо Строганова Танька в пьяном положении. Я их знавал. Их, бывало, приоденут, приоденут, а они все с себя до нитки промотают, нагишом и сидят по неделе в горнице. Вот те и графини!

– Нет, государь, – сказал вошедший Горбатов. – Здесь изображена богиня Венера… Вот и серпик месяца в ее волосах запутался. Это из греческой древней религии.

– Верно, верно! – вскричал Пугачев. – Я в Греции бывал, и у турецкого султана. Да вот, послухайте…

Все обратили улыбчивые взоры к Пугачеву. После баньки, после сытой трапезы, а впереди – самовар кипит, настроение у «батюшки» хорошее, уж он что-нибудь да «отчубучит». Когда на душе у Емельяна Иваныча спокойно, он мог порассказать о всяких занятных в его жизни приключениях. Он при этом так искусно перемешивал бывшее с небывшим, правду с вымыслом, что подчас и сам удивлялся, сколь складно получается. Впрочем, подвирал он с умом и на пользу дела. Удивленные слушатели или взаправду верили его рассказам от слова и до слова, либо только притворялись, что верят, и все же в немалом восхищенье думали: «Хоть батюшка иным часом и плетет лапти с подковыркой, а под конец, глядишь, и на всамделишную жизню повернет, людям на поученье… поистине у батюшки ум густой, охватистый».

Вот Емельян Иваныч поставил подсвечник со свечой на стол, подбоченился и, не спеша расхаживая по горнице, начал:

– Как-то заходим мы с султаном к нему в гарем, оба выпивши. Ну, там всякие цветочки, древеса разные произрастают, маленькие попугайчики перепархивают с веточки на веточку, а султанские женки в водоеме плавают, аки белорыбицы. И показывает султан пальцем: «Вот, говорит, ваше самодержавное величество, Петр Федорыч III, взгляните на это мое сокровище, главную жену-супругу. Поступила она, говорит, ко мне трех пудов весу и кажинный год, говорит, по пуду надбавляет, а живет семь лет у меня в гареме и вес имеет десять пудов без трех фунтов». Вот султан команду подал ей: «Вылазь на сухое место!» Как она из воды вылезла, да трепыхнулась, так у меня, верите ли, аж в голове круженье сделалось. Поцеловал я султана в маковку и спрашиваю по-французски: «Как это, ваше султанское величество, могло статься, чтоб молодая красотка этаким пышным телом обросла?» Султан ответствует: «А чего же ей, ваше самодержавное величество, белые телеса не растить, ежели она проснется, в водичке поплавает, полбарана умнет, кофием запьет, да опять

на боковую». Ну, султан, конешно, старый, я молодой. И спознался я с ней ночью, стражу подкупил. «Откудов ты сама-то, красавица, будешь?» – спрашиваю ее по-французски. А она мне по-русски: «Я, говорит, не понимаю, чего вы, ваше императорское величество, лопочете…» Тогда я на русскую речь перетолмачил. Она отвечает: «Я, говорит, девушка Федосья, а теперь Фатьма называюсь, двадцать два года мне, и весу тяну пять пудов три фунта, а не десять пудов, султан наврал вам».

«А как же ты, разнесчастная, попала сюда?»

«А я, говорит, крепостная крестьянка распроклятого князя Голицына, он, говорит, злодей, променял меня султану на двух туркинь да на ефиопа с халдеем, да еще ученого журавля о трех ногах в придачу выпросил, вроде чуда».

Тут она причмокнула меня и горько заплакала.

«Ах, говорит, ваше императорское величество! Вызвольте меня отсель. Хоша тут и распрекрасно, хоша султан меня ни разу за волосья даже не трепал, одначе шибко я по Расеюшке тоскую, по отце-матери, по роду-племени. А как вспомню про леса да про березки белые, про малых пташек да соловушку, сама не своя, руки на себя наложить готова… Ой, спасите вы меня, спасите!»

Я тут едва передохнул, дюже жалко мне ее стало. Говорю ей:

«Лишь бы мне снова престолом завладеть, я бы Голицыну князю ноги из спины повыдергивал».

А она мне:

«Ой, повыдергайте ему ноги-руки, уж очень шибко тиранит он крестьян своих, чтоб его лихоманка затрясла!»

– Да уж не тот ли это Голицын-то, ваше величество, что под Татищевой супротив вас шел? – спросил, улыбаясь, Горбатов, присаживаясь к самовару.

– А кто же? Он и есть! – подмигнув, воскликнул Пугачев. – Голицын-то один у царицы, князь-то. Он, собака, этот самый Голицын-Рукавицын, дознался, что мы за крестьян стоим, вот и полез на нас. Мы ему как кость поперек горла. А солдатне-то своей набрехал про нас – мы-де разбойники, народ грабим. Те сдуру и поверили!

Затем все уселись за стол. Творогов разливал по расписным гарднеровским чашкам чай. Ненила притащила пышек да густого меду.

– Ну-ка, ваше благородие, докладай, что да как? – обратился Пугачев к Горбатову. – В коем году завод-то обоснован?

– В тысяча семьсот сорок шестом, государь, – ответил Горбатов, раскинув пред собою исписанный им лист бумаги.

– Стой-ка ужо… Слышь, Яков Антипов, – сказал Пугачев. – А где приказчик Петр Беспалов, коему мы, помнится, указы слали?

– А его, батюшка, повесить довелось, – встав и поклонившись государю, ответил рыжебородый, рослый, корпусный Яков Антипов.

– Чем же он не угодил тебе? Делу нашему, что ли, прилежен не был?

– Не токмо николикой пользы не приносил, но делу вред творил! Стакнулся он, приказчик-то, с немцем Мюллером, главным при заводе шихтмейстером и механиком, да и принялся бронзовый сплав, что для литья пушек, портить: не ту плепорцию олова в медь давал. Чрез что изъян получался и делу пагуба: как поставят отлитую болванку на станок да учнут сверлить стволину, весь сплав в раковинках да в трещинах.

– Как дознались, что изъян сплаву был от неверной плепорции? – спросил Пугачев.

– А сам Беспалов показал… Как присудил народ покончить с ним, он на колени, да и ну каяться.

– Народ, говоришь, присудил-то? – вскинул Пугачев голову.

– Народ, народ, ваше величество! – воскликнул Яков Антипов, – Весь работный люд… Уж очень большая охота у мастеров да работников угодить тебе, царь-государь, пушек да мортиров-то поболе отработать…

– А с немцем Мюллером как? – прищурив правый глаз, по-строгому спросил Пугачев.

– Сохранили Мюллера мы. Хоша народ и шумел «повесить немчуру», да я не дозволил.

– То-то же, – и Пугачев с шумом передохнул. – Немца, ежели он знатец дела, обласкать надо. Покличьте-ка его.

Побежали за Мюллером. Антипов сказал:

– У него, у немца-то, голова дюже смекалистая… Ведь по его плантам пушки да мортиры-то делались, кои перекидным огнем палят. Правда, что не он один, а с ним вместях другой знатец работал, наш…

Явился тучный шихтмейстер Мюллер. Он нес перед собой тугой живот, подпертый толстыми ногами в клетчатых коротких штанах, шерстяных чулках и грубых башмаках с медными пряжками. На плечи небрежно накинутая, тоже клетчатая куртка-распашонка. Лицо круглое, наливное, глазки плутоватые, с усмешкой. Длинные рыжие волосы на концах завиты в локоны. В зубах дымит трубка. На ходу немец задыхается. Вошел и со спесью небрежно кивнул головой.

– Здравствуй, Карл Иваныч, – произнес Пугачев, воззрившись на немца.

– Мой – Генрих Мюллер, – хрипло промямлил мастер, не выпуская изо рта трубки.

В русских придворных делах он разбирался плохо, однако знал, что Екатерина свергла Петра III с престола. А вот ныне будто бы свергнутый царь снова появился и ведет войну против царицы. По крайней мере так толкуют заводские работники, но главный приказчик Беспалов когда-то говорил ему, что оный человек, обложивший со своим сбродом Оренбург, есть беглый каторжник, лжецарь Пугачев. Мюллер поглядывал на Пугачева и гадал: кто он?

Пугачев в упор с любопытством и строгостью посмотрел на немца. Тот несколько поежился, стал усиленно попыхивать трубкой.

– Умеешь ли по-английски, Карл Иваныч? Либо по-гишпански? – приосанившись и покручивая ус, спросил Пугачев.

– Нет, Генрих Мюллер говорит только по-немецки и маленько по-русски.

– В таком разе балакай по-русски, как умеешь, – сказал Пугачев, скользом взглянув на Горбатова, внимательно следившего за разговором. – Отвечай: знаешь ли, что я – Петр Федорыч III, царь всея России?

– Нет, не знайт, – потряс головой и щеками немец.

– Ну, так знай! – с сердцем сказал Пугачев. – А когда этак мне русский человек ответствует – не знаю, мол… так я, чуешь, приказываю тому человеку голову рубить! – И Пугачев пристукнул ребром ладони по столу.

Позади Емельяна Иваныча стоял широкоплечий Идорка, увешанный кривыми ножами, и свирепо смотрел в густо покрасневшее, щекастое лицо немца. Мюллер явно испугался слов царя и задышливо произнес:

– Мой голова рубить не можно есть… Голова Генрих Мюллер подданный великий король Фридрих Прусский.

– А ты не фырчи… Не то, мотри, у меня недолго и с перекладиной спознаться… Тогда узнаешь, чей ты верноподданный… Ты, с Беспаловым сговорясь, вред чинил моему императорскому делу… – сказал Пугачев, пронзая Мюллера суровым взором.

Немец, хорошо понимавший по-русски, открыл рот и покачнулся. Затем выхватил изо рта дымящуюся трубку и, выбив ее о каблук, поспешно сунул в карман. Лицо его вытянулось, окаменело. Подметив его замешательство, Пугачев сказал помягче:

– Ну, Карл Иваныч, как ты угодил мне своими пушками, кои под Оренбург присланы были, я все твои вины передо мной прощаю. Пушки новые есть?

– Есть два пушка, два мортир, кайзерцар…

– Приготовься назавтра пробу учинить. Иди, Карл Иваныч.

Генрих Мюллер, потеряв спесь, шаркнул ногами вправо, шаркнул влево, дважды притопнул каблуком, изогнулся корпусом вперед, подобрал брюхо и с подобострастием на лице выпятился оттопыренным задом в дверь.

Все с веселостью заулыбались, посматривая на «батюшку».

2

– Ну, Горбатов, докладай таперь, – приказал Пугачев офицеру.

Заглядывая в свои записи, Горбатов начал:

– Итак, Воскресенский завод был основан тридцать лет тому назад симбирскими купцами братьями Твердышевыми. Этот завод, как и многие заводы, стоит на башкирской земле. Выпытав у простодушных башкирцев, где имеется медная руда, они облюбовали возле этого места огромный участок земли, ни много ни мало, как в пятьдесят тысяч десятин, с медными богатствами и высоким строевым лесом. За всю эту землю они умудрились заплатить хозяевам ее, башкирцам, всего четыреста рублей, то есть меньше одной копейки за десятину.

– Во-во! – проговорил Пугачев, обжигаясь горячим чаем. – Мне об эфтом самом и полковник Падуров, бедная головушка, когда-то сказывал.

– Яман, яман, дермо дело! – закричал тонким голосом Кинзя Арсланов и стал лопотать наполовину по-башкирски, наполовину по-русски.

Толмач Идорка, переводя его речь, говорил, что купцы спаивали башкирских старшин вином, одаривали их разными вещичками и подсовывали им купчие. Старшины в пьяном виде ставили на купчей свою тамгу (подпись), и законная сделка таким образом считалась совершенной.

Кинзя Арсланов через переводчика сказал:

– Поэтому наша башкирь и пошла к тебе, бачка-осударь… За правдой пошла, верит, что ты обидчиков нашего народа покараешь, а землю опять вернешь первоначальным хозяевам, значит, нам, башкирцам.

Пугачев подумал, подвигал бровями и, обратясь к переводчику, проговорил:

– Перетолмачь: мол, с землей дело прошлое; что с возу упало, то пропало. А то выходит, – лежит собака на сене, ни себе, ни людям. Стой, погоди, Идорка! Насчет собаки не перетолмачивай, а толкуй тако: ныне, мол, завод со всеми землями в нашу государеву казну отошел, а земля для завода так и так нужна. Уж пусть башкирцы не прогневаются, им той земли хватит, коей владеют. И еще башкирцы пускай ведают, что без государевых заводов России не стоять: заводы пушки с ядрами льют, оружие сготовляют. А то придет враг со стороны и заберет всю землю – башкирскую и русскую. А без русского народа малым-то народцам где устоять? С них, с бедных, враг шкуру-то до ребер спустит, ни земли, ни лошадей, ни жилища не оставит им. Сам на всю землю сядет и распространится. Горе тогда всем вам, малым! Будете, как желторотые птенцы в брошенном гнезде, когда орел с орлицей застрелены. Ты только покрепче подумай, Кинзя Арсланыч, да и сородичам расскажи своим. Вот заводчики, разные там Твердышевы да Демидовы, замест пользы один вред приносили вам, обиды да притеснения сотворяли башкирскому люду простому. А я тебе, Кинзя, говорю своим великим царским словом – впредь этого не будет. Кто башкирцев на заводской земле обижать станет, голова тому будет рублена!

Идорка перевел. Кинзя, выслушав, кивнул головой, сказал:

– Якши.

Горбатов, прислушиваясь к резонным речам государя, сказал:

– Это вы правильно, государь, рассудили, умственно.

– Ну а как инако-то?.. – возразил Пугачев. – Тут само дело указывает.

– Для полного уяснения обстоятельств, – продолжал Горбатов, – надо вам сказать, государь, что башкирцы подпали под власть Москвы еще при Иване Грозном, после покорения Казани. И вплоть до петровских времен в Башкирии не было ни русских заводов, ни русских деревень. Далекая Башкирия никому не нужна была. А вот, когда Петр I новые порядки на Руси заводить начал, тогда все круто переменилось, Петр укрепил государство силою оружия. При нем постоянные войны шли, требовалось много пушек, много прочего оружия, значит, занадобились и медеплавильные и железоделательные заводы. Наш торговый флот к тому времени знатно увеличился, расходы на войны были чрезмерны, довелось усилить торговлю с заграницей хлебом – стало быть, потребовались под пашню новые земли. И вот потянулись в Башкирию купцы вроде Твердышевых да на придачу им – помещики: пронюхали они, что дикой, незапаханной земли в Башкирии много и земля та чернозем. – Горбатов сделал паузу и продолжал: – Вскоре государыня Елизавета Петровна возвела Твердышевых в звание потомственных дворян и обещала оказывать им воинскую помощь, ежели от башкирцев да от киргизов предвидена будет какая-либо бунтовская опасность.

– Эх, напрасно это, – крутил головой Емельян Иваныч. – Этакую тетушка моя, блаженные памяти, промашку допустила. По-бабски это! Тут полюбовно надо было, полюбовно, говорю. А народ на народ неча, как собак, натравливать. Она бы лучше, тетушка Лизавета, вечная память преславному ее имени, указ-то издала, чтобы купцы Твердышевы недоданные деньги выплатили башкирцам за землю сполна, по справедливости. Да их бы, Твердышевых-то, надо было, сукиных детей, не в потомственное дворянство, а на каторгу! А этакие указы давать станешь, кого хошь озлобишь.

– Вы правы, государь, – вновь выговорил Горбатов. – С тех пор башкирцы возненавидели и русских заводчиков с купцами, а заодно и русских мужиков, тех самых, коих навезли в Башкирию помещики да разные предприниматели.

Пугачев расправил бороду, откинул со лба челку и, подумав, сказал:

– Идорка, перетолмачь, а ты, Кинзя, слушай… Мы решили тако, и наша императорская Военная коллегия не единожды о том манифесты выпускала: бедноте башкирской я слезы вытру, а что касаемо, чтобы русских мужиков изобижать, тому строгий запрет кладу, чтобы ни-ни! Уж не прогневайся, Кинзя Арсланыч. Наслышавшись мы немало, как башкирские толпы безначальные, наущаемые муллами да богатыми баями, мужиков беззащитных забижают… Да нешто мужики виноваты, што господа сюда их перевезли, в Башкирию?

Когда Идорка перетолмачил, Пугачев, хмуро насупясь, спросил башкирского старшину:

– Понял ли, Кинзя Арсланыч? (Тот кивнул головой.) А понял, так на ус покрепче намотай… Идорка, перетолмачь.

Горбатов, поглядывая в бумажку, продолжал:

– Предприимчивые Твердышевы принялись распространяться по Уралу все шире и шире. За каких-нибудь пятнадцать лет они открыли еще десять заводов[7].

Пугачев встал, подошел к поднявшемуся Горбатову и, похлопав по плечу, сказал:

– Благодарствую. Мастер докладывать. Таперь мне все явственно. А вот что это такое, ваше благородие, в трубке-то у тебя свернуто?

Горбатов сорвал с рулона нитку и раскинул на столе чертеж пушки и мортиры, по бокам чертежа пестрела рябь мелких цифр.

– Сие есть изобретение шихтмейстера Мюллера, государь, – сказал он. – Хотя нечто подобное было, кажись, введено в нашей артиллерии еще в Семилетнюю войну.

---

[7] Преображенский, Богоявленский, Благовещенский, Верхотурский, Катав-Ивановский, Симский, Белорецкий, Юрезанский, Усть-Катовский и Сысертский.

Все сгрудились подле чертежа. Пугачев влип глазами в рисунок, наморщил нос, посапывал. Яков Антипов сказал:

– Не один Мюллер над этим башку-то ломал. А ежели по правде-то молвить, не Мюллер, а наш мастер-пушкарь, по прозвищу Коза, пушку-то эту выдумал. Он знатец великий. У него два сундука разных книг с цифирью, у Козы-то… Вот те и Коза! Он и зовет себя «механикус». Только пьяница – не приведи бог!

– Где он, Коза ваш? – оживился Пугачев.

– Нетути его, ваше величество, – ответил Яков Антипов. – Он, пьянь горючая, на Каму невесть зачем подался. Нешто его, Козу, удержишь?

Чай пили с каким-то ожесточением, и вскоре самовар усох. Ермилка притащил другой – в полтора ведра – с клеймом Воскресенского завода. Стало темновато. Зажгли в люстре восковые свечи. Разговоры не смолкали.

Старый заводской мастер, литейщик Петр Сысоев – человек высокий, со впалой грудью, лицо сухощавое, скуластое, в небольшой темной бороде, глубоко посаженные глаза сильно косят, он стал рассказывать о Тимофее Иваныче Козе.

История Козы такова. Он сын крестьянина Ярославской губернии. Будучи мальчишкой шустрым и затейливым, он почасту играл со своим сверстником барчонком, был вхож в господский дом, затем отобран от родителей и помещен в людскую. Барчонка обучал разным наукам гувернер из отставных офицеров-артиллеристов. На уроках всегда находился и Тимошка, барин хотел вывести его в люди, чтобы иметь доморощенного механика, архитектора, садовода и вообще на все руки мастера. Но выходило так, что Тимохе наука давалась легко, а барчонок ни в зуб толкнуть. Тимоха стал по-немецки говорить и «всю рихметику произошел». Барин, присутствуя на уроках, злился на сына, что ничего не может усвоить, тряс его за вихры, давал подзатыльника, а Тимоху за то, что отвечает бойко, без заминки, отсылал на конюшню драть.

Когда Тимохе исполнилось двадцать лет, на него начала заглядываться пятнадцатилетняя барская дочка Танечка. Однажды родители нашли у нее под подушкой Тимохино письмо: «Ненаглядная, золотая, дорогая. Бежим, не бойся, будет хорошо. Бери денег. Поженимся, а после заявимся к родителям. Меня изобьют, выдерут и тебя такожде, а тут – простят. И жизнь пойдет не надо лучше». Ну, словом, что-то в этом роде, сам Коза сколько раз Петру Сысоеву об этом толковал. Хоть и жаль было расставаться барину с Тимохой, а ничего не поделаешь; продал он его за хорошую цену на Боткинский завод, разлучив дочерь свою с крестьянским сыном, а крестьянского сына с родителями его. И заделался он на заводе подмастерьем, а через четыре года мастером. Вошел в доверие. Хозяин послал его с железным товаром на Макарьевскую ярмарку. А в те поры проживал в Нижнем Новгороде великий изобретатель, механикус Кулибин, самой государыне ведомый. Тимофей Коза направился к нему, прожил у него двое суток, насмотрелся всяких диковин: видел он у Кулибина золотые, с гусиное яйцо, часы, им изобретенные, дивные-предивные, еще видел «ликтрические машины» со стеклом и трубу длиной в сажень Луну рассматривать.

– Много Коза рассказывал о премудрости всякой, кою видел у Кулибина. И книжиц охапку оттудова привез, – говорил Петр Сысоев, – Яков Антипыч, нет ли у тебя какой из его книжек?

Антипов сходил к себе в спальню и принес в кожаном переплете измызганную книгу: «Георг Крафт. Краткое руководство к познанию простых и сложных машин, сочиненное для употребления российского юношества. Переведена с немецкого языка чрез Василия Ададурова, адъютанта при Академии наук, 1738 год».

Книгу полистали и Горбатов, и Чумаков, и сам Емельян Иваныч.

– Ах, добро! ах, добро!.. Замысловатая книга! – восторгался он. – И картинки. Ну-к, а что же дальше-то с Козой?.. Толкуй, Петр Сысоев… А ты, Творогов, нацеди-ка мне еще чашечку покрепче.

– С этих пор, – продолжал Сысоев, прищуривая то один, то другой глаз, – с этих пор Коза полез в гору на Боткинском заводе, и его за большую цену купили братья Твердышевы, купили и, видя в нем старание, а от сего большую для себя корысть, в награждение дали ему вольную. И определили его на Воскресенский завод, сиречь сюда, в помощники немцу. Старший-то из Твердышевых, Иван Яковлич, хотя и совсем стариком сделался, а ума палата, он пекся о процветании дела своего, и было у него устроено здесь вроде школы: ребята обучались грамоте, штейгерскому и всякому рукомеслу. Школу вел немец Мюллер. Только та беда, что главных секретов он ученикам не передавал, чрез что хозяин был им недоволен. Поэтому он и Козу-то Тимофея к нему определил, в мыслях у хозяина было немца прогнать, а Козе препоручить весь завод. Пронюхав это, немец, проклятая душа, принялся Козу вроде как бы спаивать. И стал Коза на работу пьяненький являться. А напьется – плачет, слезами разливается, все Танечку свою вспоминает, забыть не может, волосы на себе рвет. И было ему в те поры под сорок годков…

– А теперь-то сколько же? – спросил Пугачев.

– Теперича, ваше величество, к шестидесяти подходит… И образовался он вроде как запойный: месяц работает, неделю пьет, четыре месяца на деле, два в гульбе. До зеленого змия допивался. И чрез сие содеялся плотию немощен, ну, а разумом, как и допреждь, крепок. Хозяин, Иван Яковлевич, зело скорбел о нем, потому – мастер золотые руки. Ему сверхурочное жалованье шло. Одначе он завсегда пропивался до ниточки и все Танечку свою вспоминал, еще до сей поры жениться на ней мыслит. Мы, бывало, говорили ему: «Сдурел ты, Тимофей Иваныч… Да твоя Танечка-то ненаглядная давно старухой сделалась, а может, богу душу отдала». А он: «Над ней смерть власти не имеет, Танечка ко мне, пьяному горемыке-бражнику, завсегда во образе прекрасной юницы появляется. О мучения мои великие, о распятая на кресте жизнь моя!..» – скажет так, схватится за голову и горько-прегорько восплачет. И нам-то до смерти становится жаль его, и у нас-то зачинает в носу свербить.

– Скажи на милость, скажи на милость, до чего прочная любовь! – рывком поставив на стол блюдце с чаем, восклицал Пугачев и приударил себя ладонями по бедрам. Он вдруг вспомнил недавнюю жену свою, государыню Устью, вспомнил Катерину, с которой слушал на Каме соловьев, вспомнил дворянскую дочь, ненаглядную Лидию Харлову, замученную христопродавцем Митькой Лысовым, еще вспомнил, наконец, красавицу Стешу Творогову, последнюю разлуку с ней в Берде. Все милые его сердцу женщины пришли на память вдруг, как слетевшие с облаков райские жар-птицы. Вихрем крутнулись в мыслях, опалили сердце и исчезли. Пугачев вздохнул.

И все вздохнули. Под влиянием рассказа внезапно родились у всех воспоминания о счастливых днях юности, о звездных ночах, о жарких поцелуях, о горьких слезах, пролитых при разлуке с милой. Да, хороша незабываемая юность, вся в цветах, вся в хмельных соках жизни! Но лучше не вспоминать о ней – она неповторима.

Старообрядцу Петру Сысоеву даже пришла на ум старинная стихира, которую он и произнес вслух: «Увы мне, увы мне, на горе рожденному: вот грядет юность, за юностью младость, за младостью старость, за старостью – смерть».

После бани, после пеннику и соленой рыбки чай пили с неослабевающим азартом и никак не могли утолить жажду. За самоваром чайничали ввосьмером, на месте же всегда сидело только семеро, восьмой, в порядке очередности отсутствовал. Огромный самовар вдруг зафырчал, зашумел и неожиданно осел на бок.

– Глянь, распаялся! – с удивленной веселостью вскричал Пугачев, ткнул рукой в похилившийся самовар.

– Ах, беда! Должно, воды нет, – взволновался подскочивший к самовару Творогов. Он торопливо потянул вверх крышку и вместе с ней вытащил из самовара распаявшуюся трубу. – Ишь ты, вся горловина рухнула…

– Вот это попили чайку! – со смешливостью и сожалением подхватила вся застолица. – Эх, самовар жаль!

Часы пробили двенадцать, все принялись укладываться спать.

3

Выждав время, когда вокруг заснули, Пугачев оделся и вышел. Была холодная весенняя ночь. В небе серебрился полумесяц в окруженье ярких звезд. Плавные очертания поросших лесами невысоких увалов и приземистых гор, чуть охваченных голубоватым светом, мутно темнели вдали. Из двух медеплавильных печей валили густые клубы дыма, то черного, как сажа, то желто-грязного. Из открытых дверей и окон мастерских неслись мерные удары водяных молотов, звяк металла, отдельные людские выкрики, да еще слышался неумолчный шум воды, ниспадающей из обширного пруда чрез приподнятый щит плотины. Серел рабочий поселок – большая куча хат с остроконечными кровлями. В поселке один за другим горласто перекликались петухи. Из лесу наплывал хищный пронзительный писк сов и всякой ночной твари.

К заводским, окованным железом воротам подходил обоз: поскрипывали телеги, отфыркивались лошади. Забрякало железное у ворот кольцо. Привратник прокричал:

– Кого бог дает?

Из голубоватой сутемени загалдели:

– Углежоги с угольком!.. Да еще известкового камня на сорока возах. Отворяй, Макарыч!

Ворота распахнулись. Обоз потянулся к складам, часть телег стала разгружаться возле литейной мастерской. Старший обозный и еще два углежога вошли в мастерскую, а вместе с ними пробрался туда и Пугачев. Он был в будничной казачьей сряде, с простоволосой головой. Мастеровые люди – литейщики и сварщики – за недосугом встречать с народом «батюшку» не выходили и поэтому не знали, каков он из себя.

– Любопытствуешь, господин казак? – спросил его пожилой мастер в больших очках с синими стеклами.

– Любопытствую, – ответил Пугачев, – из государевой армии я.

– Не заспалось, должно?

– Не заспалось, братец.

– Слых есть – быдто царь-отец самолично завод станет осматривать со всеми нашими фабричками.

– Похоже – будет. А ты кто таков сам-то, в какой должности?

– А сам я первой руки токарь по меди, Осиноватиков. А ныне надсмотрщиком поставлен. Я с семейством из выкликанцев, по вольному найму, из государева экономического села. Да отойдем, казак, к сторонке, вот тут, в уголке-то, столик мой, я тебя молоком угощу. Желаешь?

Они сели у засаленного, прокоптелого стола, возле которого тускло горел на стене масляный фонарь, стали пить густое молоко, прикусывая ржаной духмяный хлеб.

– Добрецкое молоко, – начал Пугачев, – вот и коровка у тебя. Стало, живешь в достатке?

– Две коровы, да две телки, да лошадь, ну там, овцы, свиньи, куры с утками.

– Ишь ты! Должно, изрядно зарабатываешь?

– Да как сказать, – ответил Осиноватиков, снимая синие очки. – Нас в семействе шестеро работников-то: я с братаном, да два сына наших, да еще отец, да дедушка, все полу-

чаем заработку в год триста двадцать пять рублей серебром, то есть, ежели расчесть, по пятнадцать копеек на день на каждого…

– Что же, маловато тебе, ай нет? – спросил Пугачев, прищуривая правый глаз.

– Да нет, господин казак, – откликнулся мастер. – Оно и не так мало на поверку-то… Ведь ржаная мука пятнадцать копеек пуд, стало быть, мы по пуду на день зарабатываем, кажинный человек. А как полковник Зарубин-Чика Иван Никифорович от государя на наш завод был послан, он всем нам надбавку добрую учинил по вышнему царскому приказу.

– Как у вас новый управитель-то, Яков Антипов-то? – спросил Пугачев.

– Да ничего… Только дюже строг. Правда, что не штрафует и по зубам не бьет, а требовать дело – требует.

– Он царские антиресы блюдет, – сказал Пугачев, – ведь, поди, ныне работаете не на купца.

– А мы нешто не понимаем. Да мы и ране работали не худо, на Турецкую войну лили немало пушек-то. Мы с понятием. И совесть в нас есть.

– Ну, а скажи ты мне без утайки, мастер, раз вы, работные люди, добропорядочно живете, так почто же себе заступника народного поджидаете, избавителя?

– А вот пошто, господин казак, слухай, – проговорил надсмотрщик, ласково коснувшись рукой колена Пугачева. – Первым делом редкие зарабатывают, как я. А много работных людей получают по семь да по пять копеек на день. Так тут не до жиру. Что получишь, то и проешь. А взять коренного мужика. Хоша мужик и живет во множестве своем не вовсе голодно, одначе промеж крестьянства и бедности достаточно и земли у многих маловато. Только, говорю, не об этом крестьянство думушку свою думает, а думает о том, что несносные обиды ему творятся, от коих весь мир крестьянский стонет. Мужик человеком восхотел быть, вот что!

– Верно, верно! – с горячностью воскликнул Пугачев, а надсмотрщик продолжал:

– Вот поэтому-то и бунты повсеместные, все крестьянство государя ждет, такожде и по заводам. Добер ли до нас, сирых, государь-то, господин казак?

– К барам строг, к народу-труднику – милостив.

В это время дверь распахнулась, раскачивая крутыми плечами, вошел управитель Антипов.

– Ну-ка, плавка готова? Скоро ли выпускать?

– Нет еще, Яков Антипыч, – сказал, подымаясь ему навстречу, надсмотрщик. – Часика этак через два…

– Ой, ваше величество! Так вот ты где… А мы-то тебя, свет наш, ищем, – удивленно воскликнул Антипов, приметив сидевшего у стола под фонарем Емельяна Пугачева.

– Что?! Так это кто же будет? – перепуганно забубнил надсмотрщик, лицо его вытянулось.

– Это владыка наш! Петр Федорыч III, – торжественно сказал Яков Антипов.

Надсмотрщик суетливо подскочил к поднявшемуся Пугачеву и кувырнулся ему в ноги.

4

На другой день рано поутру Пугачев с Яковым Антиповым и мастером Петром Сысоевым, заседлав коней, направились на ближайшие медные рудники, верстах в пятнадцати от завода. Рудники разрабатывались здесь открытыми шахтами от 5 до 25 сажен глубиной. Пугачев видел, как руду засыпают в большие бадьи и вздымают наверх на ручных «валках». Этот рудник иногда затопляло. Для водоотлива была устроена «водяная машина», приводимая в движение конной тягой.

– Оные машины на Урале новшество. Твердышевы первые ввели, – говорил Антипов. – На прочих заводах медная руда из рудников идет прямиком на завод. А у нас тут другой обряд, тоже Твердышевы завели.

– Какой же? – спросил Пугачев.

– А вот вздымемся на пригорок. Оттуль видать.

С пригорка им открылся вид на широкую поляну с площадкой посредине. Площадка была черна, она походила на место пожарища. Здесь производился предварительный обжиг руды в открытую, чтобы сделать ее мягкой, годной к проплавке.

– По первоначалу разжигают кострище из сушняку и в огонь руду валят, – пояснил Антипов. – Дело обжига, ваше величество, тяжелое, опасное. И работы эти зовутся «огневыми».

– При обжиге, – сказал Петр Сысоев, – руда исходит ядовитым газом, самым зловредным для здоровья. Газ по земле стелется, и, ежели его погоняет ветерком на открытую шахту, рудничные работники с рудников бегут без оглядки… А то – смерть неминучая.

От сернистых газов погибали не только люди, но и все живое, вплоть до птиц, пчел и растений. Весь лес, даже сосны, пихты, елки на большое пространство вокруг стояли оголенными, без листвы и хвои.

– Когда руду здесь обожгут, – продолжал мастер, – привозят ее на завод и разбивают по сортам. А крупные-то куски в толчее толкут да в мелкий порошок перемалывают. А после того заготовляют флюс: это известной камень, белая глина да песок. Перемешают все с дробленой медью, получится шихт. Ну а теперича, батюшка, поедемте не то на завод к домницам.

Вернувшись на завод, первым делом зашли в «пробницу» – лабораторию. Это светлая изба, в средине пробирная печь с ручными мехами для дутья, на полках и на большом столе тиглы, пробирки, весы грубые и весы точные под стеклянным колпаком, пробирный свинец, бура, ступа для толчения проб.

– Здеся-ка орудует немец, – пояснил Антипов, – а иным часом и Тимофей Коза.

В углу стояло несколько четвертных бутылей с разными настойками.

– А это вот, батюшка, сладкие наливочки. Немчура сам мастерит их. Бывало, зайдут сюда с Козой, да и пьют без выхода целую неделю. Немец жиреет, Коза чахнет.

В плавильном цехе, куда вошел Пугачев с провожатыми, было жарко. Каменный цех довольно просторен и достаточно высок. Вдоль одной из стен стояло в ряд пять пузатых печей, они топились дровами.

– Мы зовем их домницы, а немец называет – крумофены, – сказал Петр Сысоев.

Пылали три домны, а в две производилась загрузка. По особым, на столбах, выкатам подвозились на тачках к горловинам печей уголь и флюс с толченой медью, то есть шихт. Высоко, почти под потолком, стоит работник, называемый «засыпка». Он покрикивает на тачечников:

– Эй, вы, гужееды сиволапые! Шагай, шагай! А ну, надуйсь! Стой, довольно шихту! Уголь сыпь!

Он командует загрузкой домны: пласт угля, пласт руды и флюсов, и снова пласт угля, пласт руды и флюсов[8]. Донельзя прокоптелый, взмокший от пота «засыпка» как будто ради озорства вымазан жидким дегтем. Из трех топящихся печей наносит газом. От жары, газа, угольной и известковой пыли «засыпка» задыхается. Он не может выскочить из цеха хоть на минуту, чтобы отдышаться на свежем воздухе – его держит на месте беспрерывный ход работы. Он ковш за ковшом пьет воду, исходя чрезмерным потом. Он жалок, хил, кашляет, сплевывает копотью и кровью.

[8] В каждую печь входило 200 пудов руды, 60 пудов флюса и 80 коробов угля.

– Слышь, Яков Антипыч, – обратился Пугачев к управителю. – И на иных прочих заводах приглядывался я к «засыпкам»; работа их, ведаешь, из трудных трудная…

– Верно, батюшка. Люди вредятся часто. Самый крепкий «засыпка» больше пяти лет не выдюжит: либо калека, либо на погост…

– «Засыпке» да еще рудокопу в подземных шахтах – одна честь, – продолжал Пугачев, от нараставшей жарищи пятясь к двери. – Я на Авзянском самолично спускался в бадье – на лычной веревке, она у них в глыбь сажен на полсотни. Люди там по штрекам да по штольням на четвереньках ползают, как звери, а руду тягают на себе вьючно, в тележке. – Он ухватил управителя за руку, пониже плеча; управитель поежился от боли. – Как воззрился я, Антипыч, на рудокопцев-то, что середь грязищи да сырости грузность на четвереньках волокут, аж на сердце у меня захолонуло. То ли люди, то ли скотинка вьючная! А заговоришь да послушаешь любого-каждого, диву даешься: что ни слово, то – золото, ей-ей… И нет, ведаешь, промежду трудников-то этих ни ссор, ни подковырок. Одна вроде бы у всех думка – как из тьмы кромешной выкрутиться. Поднялся я на свет божий из штольни ихней да и взмыслил: эх, вот бы народа какого державе нашей, да поболе!.. – Помолчав, он строго продолжал: – Вот что, Яков Антипыч, надлежит тебе почаще сменять «засыпок»-то этих, на другую работу ставить их. О сем, слышь-ка, строгий наказ даю тебе. А кои покалечены в работе, тех на безденежное кормление взять, навечно… Моим царским именем!

– Сделаю, батюшка, постараюсь, – ответил Антипов.

Пугачев, видимо, волновался; он то засовывал руку за кушак, то одергивал чекмень, то оправлял на голове шапку. В цехе было шумно: гремели по крутым выкатам чугунные колеса тачек, шуршали сваливаемые в домны шихт и уголь. Возле домниц понаделаны холодные амбарушки, там вовсю пыхтели две пары ветродуйных кожаных мехов. Сильная струя воздуха со свистом врывалась в поддувало, в печную утробу и разжигала угли. Чрез кривошипы и колесный вал мехи приводились в движение шумевшей за стеной водою, она падала на водоемные колеса.

Людей в цехе было десятка полтора. Бороздниками и веничками они прочищали вырытые в земляном полу небольшие ямки, соединенные между собой мелкими узкими канавками. Вскоре по ним брызнет-потечет огнежидкая, расплавленная медь. Все, вместе с Пугачевым, надели синие очки, а рабочие и мастера – кожаные фартуки да кожаные голицы. Старший мастер проверил, правильно ли наклонен желоб от печной лещади к канавкам. Работники похватали железные лопаты. Старший еще раз подошел к одной из трех домниц, чрез слюдяной глазок всмотрелся в бушующее пламя печи, чутко прислушался к тому, как в брюхе ее гудит и клокочет расплавленный металл, и поднял руку:

– С богом, ребята! – Затем он схватил тяжелый лом, перекрестился и долбанул ломом в замазанное глиной выпускное оконце.

– Пошла, матушка, пошла, пошла! – закричал он, ударяя второй и третий раз.

Глиняная пробка вылетела из брюха домницы, хлынул огненный, ослепительно-белый поток. Расплавленная жижа потекла по желобу вниз, в канавки, в ямки.

Мастера и подмастерья суетились с лопатами; они направляли лаву из канавки в канавку, куда нужно. Сразу сделалось вокруг нестерпимо жарко. Люди в пылу работы скакали, как козлы. Фартуки затвердели, мокрые от непрерывного пота рубахи высыхали на ходу, на них выступила соленая пыль, как иней. Пугачеву показалось, что от жару у него затрещала борода, он вскинутыми ладонями заслонил лицо и попятился к выходу.

– Готово! – прокричал старший; он снова вбил затычку в спусковой продух опустошенной домницы, велел замазать его глиной и поспешил ко второй пылавшей печи. За ним потянулись работники и подмастерья.

– Самое главное, знать, когда медный сплав в домнице дозрел, – пояснял Пугачеву сопровождавший его Сысоев. – Знатецы нюхом чуют. Зевать уж тут не приходится, а минута

в минуту чтобы. Таких мастеров-знатецов хозяева берегут, за ними даже тайный досмотр установлен, чтоб мастер не сбежал к другому заводчику да секрет свой не передал.

Один из мастеров плавильного цеха подошел к «батюшке» и низко поклонился ему.

На расспросы Пугачева мастер принялся объяснять ему, что сейчас получилась черная медь, сплав меди с железом и другими металлами. А чтоб окончательно очистить сплав от ненужных примесей, медь отправляют в соседний Верхотурский завод и там будут плавить сначала в особых печах – «сплейсофенах», а затем еще раз переплавлять в штыковых горнах. Тогда получатся бруски, или «штыки», чистой меди[9]. Затем раскаленные докрасна штыки будут класть под тяжелые водяные молоты и расплющивать в «доски» весом до пятидесяти фунтов.

Тем временем ко второй печи начали подтягивать висевший на цепях, перекинутых чрез блоки, огромный каменный ковш с двумя ручками и «рыльцем». Подошедший мастер сказал:

– Теперича сплав не в землю станем пускать, а в тот вон ковш. Как наполнится он до краев, переведут его вон к тем глиняным формам, к опокам. Это для пушек болванки будут. Трое суток остывать им, а потом в сверлильный цех потянут стволину делать. Сплав этот с примесью олова – бронза.

Пугачев попросил напиться. Ему подали подсоленной воды.

– Это пошто же с солью? – спросил он.

– А чтобы жажда не столь долила, – пояснил Сысоев. – Соли-то, ишь ты, дюже много из человека от жарищи выпаривается, ну так недостачу-то и надбавляют в нутро с водичкой…

Вышли на улицу и направились в невысокий, но довольно просторный кричный цех. Пугачев здесь оставался недолго, ковка железа была ему знакома по другим заводам. Все-таки он посмотрел, как многопудовые молоты, приводимые в движение водой, обжимают железные крицы[10]. И здесь стояла нестерпимая жарища. Люди с опаленными бровями и бородами, с раскрасневшимися, как бы испеченными, сухощекими лицами и слезящимися глазами ловко и проворно перехватывали клещами раскаленный добела металл, подставляли его то одним, то другим боком под молоты. От удара молотов брызгали во все стороны огненно-белые искры нагара и окалины.

– Ну, батюшка, а вот это моя фабричка… Здеся-ка твоей царской милости пушки изготовляем, – сказал Петр Сысоев, вводя Пугачева с Антиповым в сверлильно-обделочный цех, – Уж я тут останусь, спокину тебя, а то недосуг – работка-то не ждет.

Мастерская рублена из пихтовых бревен, стены грязные, прокоптелые. Три широких застекленных окна давали нужный свет. На сверлильном станке была укреплена бронзовая стволина для пушки, над ней трудился широкоплечий мастер Павел Греков, с окладистой русой бородой и длинными волосами, схваченными чрез лоб узким ремешком. Когда Пугачев стал приближаться к мастеру, он нажал ногой деревянный на ремнях привод, вал со стволиной заработал вхолостую.

– Здорово, друг мой! – поприветствовал мастера Пугачев.

– Здрав будь на много лет, царь-государь всенародный! – гулко и внятно ответил тот, низко поклонившись.

От крайнего окна, где был стол с раскинутым на нем чертежом, отделился немец и, неся впереди себя свой раздувшийся живот, подплыл к Пугачеву.

– О, кайзерцар, кайзерцар! – восклицал он, пыхтя и кланяясь Пугачеву.

---

[9] Каждые 100 пудов руды дают до 4 пудов чистой меди, она обходилась по 3 рубля 80 копеек за пуд. С начала войны с Турцией производство меди на заводе Твердышевых поднялось до 12 000 пудов в год. – *В.Ш.*

[10] Крица – железный брус.

– А, Карл Иваныч! Ну, как дела? Скажи-ка, сколько пушек послано мне было да голубиц с мортирами?

– Мой – Генрих Мюллер, кайзерцар, Мюллер! – с гордостью пристукнув себя в грудь, ответил немец, и на щекастом крупном лице его проступила обида. – За пять месяц Берда отлит дванасать пушек, три мортира, два хаубиц и трех тысяч ядра, гранат.

– Верно, а теперь?

– Новий работать трех пушка, этта – четверти, этта – пяти, – ответил шихтмейстер Мюллер, тыча пальцем в стволину и в бронзовую болванку, которую четверо работников подымали на станок. – Шестой пушка готовый, на улочка, пытанье будет ему при вас, кайзерцар…

– Ту пушку Коза Тимофей мастерил, по его расчислению… – сказал Антипов, – а Генрих Мюллер только помогал ему.

– Я мастериль! Мой пушка! – снова приударил немец себя в грудь и по-злому посмотрел на Якова Антипова.

– Ладно, учиним пробу, – проговорил Пугачев и, обратясь к мастеру, сверлящему стволину, спросил: – Как таперь – без изъяна бронза-то?

– Без изъяна, батюшка, без трещин, без раковин. Добрецкая бронза…

– Благодарствую, – молвил Пугачев, погладил гладкую стволину, как шею любимого коня, и, пошарив в кармане, подал бородачу золотой империал. – Ты, мастер, старайся… Нака вот… Ни на кого иного, на себя стараешься!

Новая пушка на высоком лафете стояла за чертой завода, на берегу пруда. Возле нее толпились казаки, башкирцы и прочий пугачевский люд. Тут же рассматривали пушку Андрей Горбатов, Чумаков, Творогов. С башкирцами, сидя на коне, беседовал о чем-то Кинзя Арсланов.

Когда Пугачев, сопровождаемый немцем и Антиповым, быстрой своей походкой приблизился к толпе, народ дружно обнажил головы. Антипов объяснил Пугачеву, что пушка должна пальнуть чрез завод и чрез вон тот лесок прямо в известковый сарайчик, отсюда невидимый. До сарайчика расстояние измерено межевой цепью и равняется двум верстам ста сорока саженям. Пугачев сел на коня, вместе с Кинзей Арслановым смахал туда и, осмотрев сарайчик, вернулся. Возле сарайчика – два «глядельщика»; они схоронились за сделанным из плитняка укрытием. Пушку зарядили по указанию немца, количество пороха отмерял он сам на весах. С правого бока пушечной стволины, возле «казенной части» была приделана медная дуга в четверть окружности, разделенная на девяносто градусов. А к стволине был припаян «указатель», при подъеме и опускании дула он ходил по окружности и показывал градус подъема стволины над горизонтальной плоскостью. Немец дал наклон стволине в двадцать четыре с половиной градуса. По межевому плану местности пушка заранее была поставлена так, что она, церковь и сарайчик находились на одной прямой линии. И если взять направление выстрела через крест колокольни, а дулу пушки придать правильный уклон, то при удаче ядро должно обязательно ударить в сарайчик.

– Можно пальять, скоро-скоро невидим цел… Дафай скоро! – скомандовал немец.

Пушка стрельнула чрез завод, чрез крест колокольни, чрез лес. Эхо раскатилось по горам. Вот прискакал на коне «глядельщик» и сказал, что ядро «прожужжало» над их головами и пролетело выше сарайчика.

– Да на сколько выше-то, парень? – спросил Антипов.

– А кто ж его ведает, може на сажень, може на двадцать саженев, а може и на два лаптя… Как знать… Только что чик-в-чик не вдарило.

Немец слушал, разинув рот, и двигал бровями. Вдруг (от пруда видно было) к управительскому дому, звеня колокольчиками, подкатила таратайка. Сидевший в ней человек что-то кричал и размахивал руками. Затем полез из кибитки, оборвался, упал, с усилием поднялся,

посмотрел по сторонам и, завидя на берегу пруда большую толпу, пошел на нее с громкими криками. Весь народ устремил на него свои взоры. Кто-то в толпе сказал:

– Да ведь это Коза прибывши… Ишь его из стороны в сторону мечет.

Невысокий человек в черном одеянии то бежал, то шел, то частенько падал.

– Он, он!.. Тимофей Иваныч это… – раздавалось в толпе.

И действительно, вскоре стало все отчетливей доноситься с ветерком:

– Я Коза! Тимофей Коза! Встречайте! Коза-дереза приехал!.. Прозвищем – Коза!.. Я Коза, а вы люди-человеки… Коза приехал!.. Я Коза! Прозвищем – Коза! – беспрерывно, как одержимый, резким и тонким голосом кричал он, приближаясь.

Пугачев во все глаза глядел на него, оглаживая бороду. Навстречу Козе двинулся Антипов.

– Я Коза, Коза! – продолжал кричать тот, не переставая. – Вы люди-людишки, а я Коза! Прозвищем Коза!.. Врешь, немецкая твоя образина, я сам механикус! – взмахнул он рукой, его круто бросило в сторону, он упал. – Я Коза!.. Любое число… могу в зензус и в кубус возвести. На-ка, выкуси, Мюллер!.. Ты Мюллер, а я Тимофей Коза…

К нему подбежал Яков Антипов, поставил его на ноги, стал что-то говорить, указывая в сторону Пугачева. И видно было, как механикус заполошно взмахнул руками, нетвердым, но торопливым шагом приблизился к пруду, сбросил с себя свитку и шляпу, припал к холодной воде на колени и суетливо стал окачивать лысую свою голову. Антипов меж тем встряхивал, чистил его свитку.

И вот перед Пугачевым остановился протрезвевший механикус. Он – низкорослый человек, лицо костистое, широколобое, с темными, глубоко посаженными глазами; в них светился ум и затаенная скорбь. Пугачев с любопытным вниманием всматривался в чисто бритое, исхудавшее лицо его и хмурил брови.

– Я Тимофей Коза, твое величество! – выкрикнул механикус и, держа шляпу под мышкой, поклонился Пугачеву. – Прости, отец… В ноги тебе не валюсь, не приобык царям кланяться земно. Цари бо царствуют, вельможи господствуют, рабы стонут-воздыхают, пресмыкаются. А я, горький, того не желаю – я сам себе царь!

– Цари, друг мой, всякие случаются, – возразил Пугачев, глядя в упор на механикуса. – Одни, верно, царствуют да бражничают, а есть и другие, кои труждаются и страждут.

Механикус опустил взор в землю, лысая голова его склонилась. Пугачев участливо спросил его:

– Пошто пьешь, Тимофей Иваныч? Мастер ты, слыхать, отменный, а этакое погубление себе чинишь. Званье свое мараешь. А ведь ты не мал человек на белом свете…

– Обида, обида, твое величество! – закричал Коза и закашлялся. – Убери неправду с земли, тогда брошу. Чья пушка? Моя пушка! А немец говорит – его пушка. Вот он в небо вдарил, а я в сарайчик тот, защуря глаза, влеплю.

– Мой пушка! – брызгая слюной, закричал немец.

– Ну ладно, твой – так твой… – более спокойно сказал механикус. – Ты ее по моим исчислениям сделал, а выдумал ее я, Тимофей Коза. Полгода сидел над чертежами. Для турской войны старался.

– Мой пушка! – снова запальчиво воскликнул Мюллер, напирая брюхом на механикуса.

– Царь-государь, дозволь! – отодвигаясь от немца, заголосил Коза и крикнул пушкарям: – А ну, ребята, заряди! – Он бросил шляпу в руки малайки-башкиренка, достал из кармана измызганную записную книжку с карандашом и спросил Антипова о расстоянии до сарайчика.

Тимофей Коза, морща лоб и двигая бровями, делал в книжке нужные расчеты, бубнил себе под нос:

– Я и субстракцию знаю, и что есть радикс знаю… Зензус, кубус…

Он замолк, проверил свои исчисления, присвистнул, всмотрелся в показатель на дуге, выкрикнул:

– Враки, немец! Траектория неверна. Двадцать три с четвертью градусов надо, а у тебя, черт некованый, двадцать четыре с половиной.

Все с нетерпением ждали выстрела. Пугачев, покусывая усы, прищуривал то левый, то правый глаз. Коза перевел показатель, закричал:

– Пали!

Ударил выстрел. Пугачев сказал механикусу:

– Слышь, Тимофей Иваныч. Все едино – утрафишь ты, не утрафишь ли в цель – люб ты мне. Хочешь вольной волей идти в нашу императорскую армию – иди, рад буду… Только допряма говорю тебе: пьянству положи зарок.

– Зарекаюсь, царь-отец, зарекаюсь! Сей же день пить брошу. И в армию к тебе вступлю. Авось мимо нареченные невесты моей путь твой предлежать будет. Я вживе ее почасту вижу, она, юница непорочная, до сей поры из своего сердца не истребляет меня. И я, горький, такожде верность ей блюду и не творю блуда ниже делом, ниже помыслом своим… – Тимофей Коза говорил жарким, захлебывающимся голосом, глаза его горели безумством, испещренное морщинами желтое лицо покрылось красными пятнами.

– Брось ты нескладицу молоть, Тимофей Иваныч, – отмахнулся Пугачев. – Опомнись!.. Слышал я про юницу про твою, она старухой давно стала.

– Отец! – с отчаянием закричал Коза и, скривив рот, заскорготал зубами. – Я думал, ты един поверишь мне, а ты – как все… Сказываю тебе, время не трогает ее, время над ней идет. До днесь Таня моя в юности обретается. Да вот и сей день, как подъезжал к заводу, она сидела у лесной опушечки, вьюнок плела. Это, говорит, Тимошенька, тебе. Вот он, вьюночик-то, вот, – механикус, тяжело, с прихлюпом, вздыхая, достал из кармана свитки небольшой венок первых полевых цветов и помаячил им перед Пугачевым.

– Едут, едут! – вдруг зашумела настороженная толпа.

Не один, а оба гляделыцика, настегивая лошаденок, неслись вскачь, орали:

– Попало, попало, ядрена бабушка!.. В самую крышу брякнуло… Вдрызг разворотило!

Пугачев сдернул кафтан и накинул его на плечи Козы:

– Премудрая голова у тебя, Тимофей Иваныч, – произнес он громко, и в толпе, как бы подхватив слова его, дружно закричали: «Ура, ура!» Затем он резко повернулся к Мюллеру. – А ты, Карл Иваныч, ежели хочешь, будь при нем подмастерьем. А не хочешь – валяй себе к своему Фридриху косолапые пушки ему лить… Понял ли?

Немец понял и помрачнел, как ночь. Дымя трубкой и распихивая брюхом толпившийся народ, он со свирепостью покосился на Козу и грузно двинулся прочь, как медведь через чащобу.

5

Емельян Пугачев всем заводским людям решил сделать угощение. Работникам были накрыты столы в двух цехах. А в деревню Александровку Горбатов отправил расторопного секретаря коллегии Шундеева с двумя казаками устроить мужикам «царский обед с выпивкой».

В управительский же дом были созваны все мастера и восемь наилучших подмастерьев. Тимофея Иваныча Козу всюду искали и, к великой досаде Пугачева, не могли найти.

Стол был накрыт пышно. У братьев Твердышевых сундуки ломились от дорогой посуды. Пугачевские начальники и гости чинно ожидали появления государя. Среди подмастерьев выделялся исполинским ростом и богатырской статью молодой парень Миша Маленький. Плечи у него широченные, а кудрявая голова не по корпусу маловата. Рядом

с ним кряжистый Чумаков казался карапузиком. Темного сукна, перехваченная цветистым кушаком поддевка парня была туго набита мускулами. В каждый подкованный сапог его могли бы поместиться по мешку крупы. Словно вылитый из чугуна, Миша Маленький давил ногами пол.

Вскоре вышел из соседней горницы Емельян Иваныч в ленте через плечо и со звездой. Все низко поклонились ему. Тут выступил вперед мастер-сверлильщик при пушечном деле Павел Греков. У него широкое лицо в густой русой бороде и длинные, перехваченные ремешком волосы. Он взял за концы лежавшую перед ним саблю, приподнял ее вровень со своими плечами и, передавая «батюшке», сказал:

– Вот, царь-государь… Это подарочек вашей милости от нашего завода, в путь-дорожку тебе и во счастье. Прими, отец, не обессудь!

Пугачев взял саблю, прищурился и, рассматривая ее, за-прищелкивал языком. Сабля была изумительной работы. Рукоятка в густой позолоте, ножны серебряные с золотыми насечками, с вытравленным, покрытым эмалью и чернью сложным узором. Драгоценные камни, крупные и мелкие, были вкраплены и в рукоять и в ножны.

– Спасибо, трудники, благодарствую, – сказал растроганный Пугачев, продолжая любоваться подарком. – Этакой сабли я ни у Фридриха Прусского, ни у турецкого султана не видывал… Чья работа?

– Мастеров-оружейников завода Златоустовского, – ответил Греков, одергивая свою свиту синего сукна. – Твердышевы заказали оную саблю для ради подношения князю Григорию Орлову, да не занадобилась, сказывали – его место Потемкин заступил.

– А, знаю, – ухмыльнулся Пугачев и поставил саблю в угол. – У Катьки этих Потемкиных-то сколько хоть. Она ведь и сама весь свой век в потемках, как сова, живет да измышляет, кого бы закогтить…

– Спаситель наш, Христос, рек, – начал поп Иван, уставясь водянистыми глазами на саблю, – «Не мир я принес на землю, а меч». Вот он – меч!.. Для истребления злобствующих, для защиты праведников.

Пугачев махнул на него рукой, сказал:

– Ну, детушки, садитесь-ка потрапезовать. Эх, редко мне доводится с работным людомто!.. Все в походе да в походе…

Стали пить здравицу за государя. Приветствие произносил Петр Сысоев. И как только закричали «ура», нежданно грянул возле самых окон орудийный выстрел, весь дом встряхнулся. Отец Иван привскочил за столом и расплескал вино. Гости бросились к окну. Горбатов успокоил их. Пугачев, улыбаясь, сказал:

– Это, други мои, зовется салут, не страшитесь.

– Да ведь как, батюшка, не страшиться-то, – раздались голоса, – время самое тревожное, по заводам начали воинские отряды рыскать. Предосторога не вредит.

Ненила с Ермилкой и стряпухой разносили блины. Полон дом напустили кухонного чаду; хотя и холодновато было, довелось открыть окна.

Пили здравицу за государыню Устинью. Чокнулись, прокричали «ура», ждали повторного громового раската пушки. Отец Иван даже схватился за столешницу, но выстрела не последовало. Блины уничтожались во множестве. Масло, снеточки, белорыбица. Старик Пустобаев, а глядя на него и Миша Маленький ели блины зараз стопочками, по пяти штук в каждой. Пили за здравие наследника Павла Петровича с его супругой. Отец Иван опять схватился за столешницу и напряженно ждал, вот-вот ахнет пушка. Но и на этот раз пушка промолчала.

Завязались разговоры. Мастера наперебой старались выразить «царю-батюшке» свою любовь и преданность, любопытствовали о его походах, о здоровье: слых прошел, что

«батюшка» был ранен. Пугачев отвечал на все с готовностью и в свою очередь расспрашивал заводских людей об их житье-бьггье.

И вот приказал он наполнить чары очищенным крепким пенником, встал (и все поднялись) и внятно произнес:

– Ну, детушки, подымаю я чарочку в честь вашу и всех заводских трудников, какие только водятся на белом свете. Здравствуйте, люди заводские!

Широко улыбаясь и весело между собою переглядываясь, гости чокнулись с государем, громогласно закричали «ура». И вдруг вновь грянула-хватила пушка. Отец Иван привскочил, лягнул ногой и опрокинул чарку. Уж вот тут-то он никак не ожидал этой окаянной пушки… За государыню молчала, за наследника молчала, а тут… Все засмеялись на отца Ивана, Пугачев сказал:

– Ведь ты, батя, кабудь обстрелянный, а лягаешься, как конь…

– Боюсь, ваше величество, боюсь… Сердце у меня, как у кошки у худой.

Затем начали разносить из свежих карасей уху. На вопрос Пугачева, велико ль на заводе людство, мастер Греков, осанистый и важный видом, расправив бороду, отвечал ему:

– Работных людей у нас, твое царское величество, полторы тысячи человек мужского пола. Из оного числа – тысяча двести крепостных, они куплены Твердышевым у разных помещиков.

– Поди, в вашей деревне Александровке крестьянство-то бедно живет? – спросил Пугачев.

– Да не шибко прибористе, а прямо сказать – бедно да грязновато, – ответил Петр Сысоев. – Хозяева-то дали им на каждую семью землицы малую толику, да недосуг людям обрабатывать-то ее.

– Ведь с утра до потух-зари на заводских работах бьются, – сказал старик мастер с густо морщинистым лицом.

– Ну, а идет ли им плата-то? – спросил Емельян Иваныч.

– Идет, идет, – хором подхватила застолица. – От трех до семи копеек на день.

– На эти деньги жиру не накопишь, – вздохнул Пугачев. – А скажите-ка, кто же здесь, окромя вас да мужиков закрепощенных?

– По вольному найму, царь-государь, иные прочие труждаются, – ответил морщинистый старик. – Есть и государственные, и оброчные помещичьи крестьяне, городские ремесленники, башкирцы да всякие беглые беспаспортные людишки. Вольнонаемным выкликанцам плата идет хорошая. Плотники подряжаются по двадцати пяти копеек на день.

– Был у меня дружок, – начал Греков, накладывая себе в тарелку каши с маслом. – Приехал он сюда вольной волей с бабой да с двумя малыми ребятами плотничать по писаному договору. Сроком на пять лет. Земли ему не дали, стало быть, своего хлеба нет, а хозяева из своей лавки продавали харч с хлебом да одежу втридорога. Вот придет он в контору за деньгами, а ему там и скажут: «Ты, браток, дюже прохарчился, да шапку купил, да сапоги. Не тебе контора, а ты ей должен». – «Ну что ж, дайте в долг, пить-есть надо». Контора в долг давала ему с охотой. Сегодня возьмет да через месяц возьмет, ну там с горя винца купит, глядишь – и закабалился человек. И стал он из вольных крепостным. Вскорости спился и умер без покаяния: в деревне Александровке его, пьяного, медведь задрал…

– Как, неужто в деревню медведи-то заходят? – удивился Пугачев.

– Медведи-то? Еще как заходят, батюшка! – подхватила вся застолица. – Ведь Александровка-то в самой трущобе торчит в тайге. Как-то медведь-набызень едва старуху не задрал, она в лачуге жила, зверь-то на крышу залез, стал крышу разворачивать, да, спасибо, Миша Маленький подоспел…

– Какой такой Миша? – спросил Емельян Иваныч.

– А вот, что супротив вас сидит.

– Это я Миша Маленький зовусь, – проговорил богатырь писклявым мальчишеским, не по росту, голосом и стыдливо прикашлянул в широкую, как лопата, ладонь.

Все заулыбались, улыбнулся и Пугачев. Миша возвышался над столом горой и, облизывая пальцы, смачно чавкал вкусный пирог с мясом. Все взяли пирога по дольке, по другой, а он придвинул к себе один из четырех поданных Ненилой пирогов и работал над ним самостоятельно. Ненила, поглядывая на него, втихомолку удивлялась.

– Как же ты, Миша, медведя-то? Из ружья, что ли? – спросил Пугачев.

– Нет, я ружья боюсь, твое величество, – пропищал детина. – А я его по башке стяжком березовым. Стяжок пополам, а зверь кувырком с крыши. Ну, я его за глотку. Он и язык вывалил.

– Наш Миша-то, царь-государь, – сказал Петр Сысоев, скосив оба глаза к переносице, – на себе коня протащить может, сажен с сотню…

– А как-то воз с медной рудой захряс в грязище, позвали тут на помощь Мишу. Он лошаденку выпряг, сказал: «Нетто тут коню совладать?!», да как впрягся в оглобли, да как дернул-дернул, сразу на сухое выкатил.

– Так неужто всякого коня на себе протащить можешь? – спросил Пугачев, прищурив на парня правый глаз.

– Всякого ношу, твое величество, – пропищал Миша, доедая остатки пирога. Ему услужливо придвинули баранью ногу.

– Что ж ты, друг мой, мало пьешь винца-то? – спросил Пугачев.

– Как мало?! Со всеми вровень пью, – сказал Миша. – Да ведь оно меня не берет. Вода и вода…

– Ну, как это не берет? Ненила, подай-ка нам ковш сюды! – велел Пугачев, ухмыляясь на Мишу.

Миша Маленький вылил из графина в поданный ковш очищенной водки, долил до краев из другого графина, перекрестился и, не отрываясь, принялся большими глотками пить. Пугачев, посунувшись вперед и полуоткрыв рот, смотрел на парнюгу. И все, затаясь, взирали на него. Вот он кончил, крякнул, вытер кулаком губы. Пугачев вместе со всеми громко засмеялся.

Миша исподлобья взглянул на всех своими дремучими, с прозеленью, медвежьими глазками. Затем, принявшись за баранью ногу, сказал:

– Оно, конечно, после пирожка да после блинков жажда долит, не грех жижицы попить… А так – водичка и водичка!

Помолчали. Пугачев задумчиво смотрел перед собой в пространство. Затем, окинув взором бодрые лица мастеров, сказал:

– Вот, други мои, о чем хочу попечаловаться… Пушек да мортир с ядрами дюже мало льете. Не можно ли, детушки, горазд поболе лить?

– Нет, надежа-государь, – подумав, ответили мастера, – это дело многотрудное. Уж мы промеж себя еще до твоего царского приезда мозговали так и этак. И меди в достаточности нетути, а пуще всего станков работных нет… Оно, конешно, можно бы, да не вдруг.

– А нельзя ли, детушки, как ни то поскореича дело повернуть, покруче?

Пугачев всем налил чарки, ждал ответа. Отец Иван все порывался что-то сказать. Емельян Иваныч грозил ему пальцем. Мастера шептались меж собою. Наконец мастер Греков, поклонясь Пугачеву, произнес:

– По край сил своих постараемся, царь-государь. За медью завтра же спосылаем на другие заводы да, может статься, и станки добудем. Мы, заводские, народ дружный. Приналяжем, царь-государь.

– Твое царское величество! – воскликнул отец Иван, он держался за столешницу не ради опасения пушечного выстрела, а потому, что от выпивки изрядно кружилась голова

его. – Царь-государь, прислушайся! Сказано бо: «Низложу сильные со престол и вознесу смиренные…» Внемли и подумай, отец наш!.. И вы, братия, подумайте, ибо все вы смиренны. А на престоле-то Катерина, великую силу в руках держащая! Творогов! Споем стихиру глас восьмый.

Творогов кивнул головой и гулко откашлялся. Вызывающе косясь на Мишу, он загремел баском, поп Иван подхватил усердным тенорком:

Низложу си-и-ильные со престол
И вознесу смире-е-ные!

…И вот царский поезд прибыл в заводскую деревню Александровку. После сытной трапезы народ веселился на полянке, душой гулянья был затейливый Шундеев: люди разбились на кучки, шли песни, плясы, игры. «Царя-батюшку» встретили громкими, дружными криками приветствия, благодарили за угощение.

– Гуляйте, веселитесь, детушки! А завтра – на работу.

– Рады постараться тебе, свет наш!

Пугачев посмотрел на борьбу татар с башкирцами, полюбовался на забавные фокусы, которыми потешал толпу секретарь Шундеев. Принесли большую и глубокую деревянную чашу, почти до краев наполненную жидкой сметаной.

– Ваше величество, дозвольте рубль серебра, – попросил Шундеев, встряхивая головой. Пугачев протянул ему рублевик. Шундеев при всех опустил его на дно чаши и сказал гулякам: – Кто зубами монету достанет, того и рубль.

Все заулыбались. Охотников на такую потеху не было. Однако вызвался низкорослый парень. Он обвел толпу подслеповатыми глазами, виновато всхохотнул, забрал в грудь воздуха и погрузил курносое лицо в сметану. На виду остался только рыжеволосый затылок. Толпа, готовая разразиться хохотом, плотно окружила потешную игру. Рыжий затылок пошевеливался и подрагивал, словно плавающий на волне клок овчины: видимо, парень со всем усердием старался поймать зубами рубль. Но вот вынырнула из чаши обляпанная сметаной голова с открытым ртом, с зажмуренными глазами и как-то по собачьи отфыркнулась. Толпа громко захохотала, ребята с бабами от удовольствия повизгивали. Парень, боднув головой, продрал глаза и продул ноздри. Сметана текла с лица на грудь, на землю. Парень не знал, что ему делать.

– К ручейку ба, к водичке ба, – бормотал он, сбрасывая с себя липкую сметану. Три лохматые собаки облизывали его штаны, лапти, рубаху.

– Присядь, Ванюха, либо ляг на луговину, – в шутку советовали ему, – склонись к собакам-то.

Ванька сел на землю. Собаки в момент умыли его начисто. Он засмеялся и сказал:

– Ну, маленько я его не уцепил, два раза в зубах был, дьявол…

– Дозвольте! – вылез из толпы другой парень. За ним в очередь встали еще три парня. Потеха продолжалась при общем хохоте и с той же неудачей. Сметана убывала, чашу довелось восполнить. Рублевик, словно заколдованный, лежал на дне. Бородачи в игру не встревали, им казалось зазорным топить в сметане бородищи. Вот подошел к чаше кривоногий, длинноносый мужичок с козлиной бородкой и сказал: «Мы жалаем».

– С твоим ли, Вася, носом? – зашумели веселые зеваки. – У тя нос-то как у журавля. Упрется!..

Но Вася набожно перекрестился, погрузил голову в чашу и быстро вытащил зубами рубль.

– Матрен! – крикнул он. – Получай!.. – Матрена взяла рубль. Мужичок сказал: – Давай еще! И харю утирать не стану. – Емельян Иваныч с готовностью передал второй рублевик.

Мужичок нырнул и снова ловко вытащил, как собака тащит из болота утку. – Матрен! Огребай деньги! – Матрена радостно улыбалась и творила про себя молитву: ведь эстолько денег дай бог за месяц заработать.

Когда счастливый мужичок достал из чаши четвертый рублевик, завистливая толпа и смеяться перестала, послышались недоброжелательные выкрики:

– Он, носатый дятел, с чертом знается!

А Ермилка, обратясь к Пугачеву, сказал:

– Ваше величество, этак-то я сотню рублевиков мог бы выловить. Дело бывалое. А вот, дозволь! – И, пошлепав губами, Ермилка закричал в толпу: – Эй, народы! Зубами всякий дурак вытащит, хитрости в том нет. А надо эвот как! – Он прихватил обеими руками чубастые волосы свои и засунул лицо в сметану. Зрители разинули рты, замерли. И вот вскинулось вверх Ермилкино лицо: рубль не в зубах у него, а возле глаза: казак умудрился зажать его между бровью и щекой. Вся толпа ахнула, принялась выкрикивать Ермилке похвалу. Похвалил его и Пугачев. В это время ребятишки закричали:

– Миша пришел! Миша пришел!.. Миша, пошто ты такой маленький?

– Бог росту не дал, – пищал тот, пробираясь к государю.

– Что, Миша, пехтурой, никак? – спросил его Емельян Иваныч.

– Пешечком, ваше величество… Лошадки подходящей нетути. Обнаковенный коняга сразу сомлеет подо мной.

– Ну, и крепок ты… Вино-то не сборило?

– Водичка и водичка.

– Канат тащите, канат! Перетягу устроим! – шумел Шундеев.

Меж тем Миша, закинув руки за спину и чуть ссутулившись, не спеша пошел по луговине, улыбчиво посматривая на мужичков своими медвежьими глазками. Мужики, зная его повадку, опасливо сторонились от него: бросил он взгляд на Митродора, Митродор нырнул в толпу, взглянул на Карпа, Карп скорей в толпу. Вдруг он круто повернулся, сгреб в охапку зазевавшегося мужичка-брюханчика и с легкостью швырнул его вверх. «Караул!» – благим матом завопил брюханчик и упал в мягкие ладони Миши. «Ура!» – заорала толпа.

– Становись, становись к канату! – И вот десяток крепких мужиков, поплевав в пригоршни, вцепились в конец длинного каната, другой же конец схватил правой рукой Миша Маленький. Началась игра в перетягу. Миша стоял к своим противникам правым боком, немного откинувшись назад и заложив свободную левую руку за спину. Он, казалось, не делал никакого усилия, легко сопротивляясь натужливому старанью своих противников.

– Надбавь ощо! Давай ощо столько жа! – прокричал Миша.

К канату бросились на подмогу мужики и парни… Канат натянулся до отказа и дрожал, как приведенная в колебание струна. Стал слегка дрожать и Миша, его глядевшие исподлобья узенькие глазки раздвинулись пошире, он покруче откинулся назад. Тут из толпы вышел широкоплечий кряжистый старик в овчинной шапке, он вцепился в канат и загайкал на весь лес:

– Ай-ха!.. Давай, давай, православные! Надуйсь!..

Миша Маленький сразу почувствовал богатырскую силу казака. Сдернутый с места, он, подаваясь помаленьку вперед и стараясь удержаться, пахал землю каблуками.

– Ай-ха!.. Тяни-тяни-тяни! – шумел старичина, за ним дружно подхватывал народ: – Ага, Миша!.. Сдал?!

Но Миша вдруг остановился, схватил канат обеими руками, стиснул зубы и весь напружился. Круглощекое лицо его сделалось напряженным, злым, огромные кисти рук стали красны, как клешни вареного рака. Канат гудел, толпа противников, выбиваясь из сил, орала. А Миша Маленький все-таки ни с места. Тут откуда ни возьмись пьяненький отец Иван.

Путаясь ногами в длинной рясе и поблескивая на солнце наперсным крестом, он вшаг подошел к канату, схватился за его конец и закричал:

– Низложу сильные со престол! – стал внатуг тянуть его.

Вдруг Миша весь затрясся, широко разинул рот и выпустил канат из рук. И все, кто держался за другой конец каната, разом кувырнулись вверх лаптями. В толпе взорвался хохот.

Пока шло игрище, Емельян Иваныч с Антиповым, сев на коней, осматривали деревню Александровку.

– Деревня обширная, – сказал Антипов. – Мужиков поболе тысячи сволочилось сюды со всех местов, и народ добропорядочный. А хозяева, Твердышева братья, вишь каких хлевов людям понастроили.

Действительно, серенькие, подслеповатые избенки в одно оконце были понатыканы кой-как, без всякого тщания и смысла. Большинство изб стояло без труб, они топились почерному и мало походили на жилище человека. А между тем кругом высились заросли строевого леса, уж где-где, а здесь-то вся стать быть крепко рубленным высоким хатам с расписными воротами, тесовыми кровлями. И люди жили бы тогда по-другому, в чистоте и просторе, и зазвучали бы по лесам, по заводам бодрые, веселящие душу песни. Но этим людям лишь во сне, как туманное воспоминание, грезится сытая, веселая жизнь – жизнь господ, которые когда-то продали их на чужбину. И они продолжают тянуть ярмо свое. Втайне они думают, что живут здесь временно, что, может быть, завтра погонят их в Сибирь, перебросят на другой завод или продадут другому господину. Поэтому у них нет и прицепки к жизни, и живут они, словно стая перелетных птиц, от весны до холодов, чтоб бросить свои постылые гнезда и лететь дальше, неведомо куда.

Пугачев глядел на эти обомшелые избенки, глядел на огромный погост, густо утыканный крестами, как донские плавни тростником, и его сердце сжималось. И потому, что больно сжималось сердце, в голове Емельяна Иваныча крепла мысль, что дело его свято.

Обратной дорогой Пугачев со свитой ехал шагом. Миша с отцом Иваном тащились в телеге, запряженной парою. Поп, телега и лошадки в сравнении с Мишей казались игрушечными. Окруженный мастеровыми, Емельян Иваныч был в праздничном настроении и вел с ними беседу. Яков Антипов сказал:

– Как приедем, покажу тебе, ваше величество, одну штуку. Тимофей Коза сварганил, таясь ото всех, особливо от Мюллера. Только я один знаю.

– Да, друга мои, – кивнув головой Антипову, проговорил Емельян Иваныч. – Коза немал человек, такие люди в редкость, им цены нет. Поберегать его надо. Как придет он в память, пускай замест немца становится. А этого самого Карла Иваныча закиньте в степь, пускай к королю Фридриху ползет, раз иноземец похваляется, что есть он его подданный.

На заводском дворе тоже шло веселье. Работный люд гулял вместе с яицкими казаками. Было шумно, весело, но не пьяно.

День погас. Вечерело. Яков Антипов велел слесарю прихватить инструмент, чтоб вскрыть замок на амбарушке механикуса Козы. Когда же приблизились вчетвером к амбарушке, усмотрели, что ворота в нее отперты.

– Глянь! – вскричал Антипов. – Сам Тимофей Иваныч здесь, нашелся друг сердешный…

Распахнули ворота, но Козы в амбарушке не приметили. Темновато там. Посредине громоздилась какая-то станина с небольшими пушками. Подошел Миша и всю станину выкатил наружу. Люди увидали на снегу нечто неожиданное. Большой, сколоченный из байдаку и брусьев деревянный круг, диаметром около сажени, лежал горизонтально на катках и легко мог, как карусель, вращаться в одну сторону – справа налево. На круге, на равном друг другу расстоянии, были размещены восемь малых пушек. Антипов залез в широкую прорезь круга и стал вместе с пушками неспешно вращать его, поясняя:

– Вот, надежа-государь, смотри. Допустим, все пушки заряжены. Первая пальнула, круг маленько повертывается. Вторая пальнула, круг опять повертывается. Вот и третья. А в это времечко первую да вторую уже заряжают. А как из восьмой пальнут, уже первая снова к стрельбе сготовлена. И таким побытом, без всякого перерыва – знай себе шпарь.

– Здорово! – восхищался Пугачев. – А ежели, скажем, неприятель окружил, так и зараз из восьми палить можно картечами. Токмо грузновата махина-то, вот беда.

– Грузновата, батюшка, – проговорил Антипов. – Возить трудно по нашим убойным дорогам. Да ведь колесо-то, впрочем, сказать, разборное.

В это время из амбарушки донесся заполошный голос Петра Сысоева:

– Эй, сюды, сюды! Беда!

Все вскочили в амбарушку. В темном углу лежал ничком, не шевелясь, Тимофей Иванович Коза.

– Он, голубчик, стружками был засыпан. Я думал – пьяненький. Потолкал, потолкал – молчит, не дышит.

Тело механикуса бережно вынесли на свет, положили на кошму, стали осматривать.

– Убит, – сказали все в голос. – Глянь! Затылок-то проломлен…

Костлявое лицо убитого потемнело, глаза полузакрыты.

– Вот тебе и поберегли, – мрачно сказал Пугачев, с печалью вглядываясь в лицо мертвеца.

– Не иначе – немцево это заделье… Его, его! Больше некому, – проговорил Антипов.

Все обнажили головы, закрестились. Глаза Пугачева вспыхнули. Раздувая ноздри, он сказал:

– Выходит, маху мы с тобой, Антипов, дали, что загодя не повесили иноземца-лиходея. – И закричал, сжимая кулаки: – Подать мне его! Из земли выкопать!

Ударили в набат. Гулянка сразу прекратилась. В Александровну поскакал нарочный. По всему поселку разыскивали немца. Объездчики со стражниками седлали лошадей. Работная молодежь собиралась в кучки, чтоб искать исчезнувшего Мюллера.

По армии было объявлено: завтра выступать в поход. Ночь прошла в тревоге, в поисках, в приготовленьях к маршу. Была обшарена со зверовыми собаками вся окрестность. Немец исчез бесследно.

Наступило солнечное утро. Отец Панфил служил заупокойную литургию по убиенном рабе божием Тимофее. Гроб с телом механикуса стоял в церкви.

На заводском дворе собрался весь работный люд. Немногочисленная армия с обозом была вполне готова к выступлению. На видном месте стояли полторы сотни молодых работников завода, пожелавших вольной волей следовать за «батюшкой». У многих за плечами ружья. Тут же поблескивали свежей бронзой новые, только что изготовленные пушки, запряжены они были сытыми лошадками. Впереди работного отряда Андрей Горбатов на коне.

Когда окрепло солнце, Емельян Иваныч выехал к народу в богатой сряде, с лентой, со звездой, при драгоценной сабле (подарок Воскресенского завода). Пугачев поднял руку с платком, взмахнул, и все затихло.

– Детушки! – прозвучал в тишине властный голос. – Приспело мне время шествовать дальше с воинством моим. А вы оставайтесь и мне, государю, порадейте. Поспешайте пушки лить да ядра, в них шибкая нуждица у меня! По жительствам вашим покамест не распускаю вас, воли не даю вам и не дам, покуда не воссяду на прародительский престол. А как воссяду, тогда и вам новые порядки выйдут, работное время сбавлю, жалованья набавлю, харч положу сытный. И воздыханиям вашим придет окончание (многие в толпе стали осенять себя крестом). И распущу вас по домам вашим, объявлю волю всему крестьянству во всеуслышанье. А впредь укажу набирать по заводам выкликанцев, по вольному найму и хотенью. И заводы расширю, и новые выстрою, и управлять заводами будут выбранные вами

люди. Еще вот чего. Управитель ваш Яков Антипыч, по моему указу, выдаст в награжденье всем семейным работникам, мужикам и бабам, по рублю серебром ка человека, а холостякам по полтине. («Спасибо, царь-государь!» – дружно закричали в толпе.) Ну, детушки! Век бы жил с вами, да ничего не поделаешь: разлученный час настал. Прощайте покудов! Живите в труде и во счастии.

И заорала толпа, замахала шапками. Окруженный ближними и провожаемый народом, Пугачев двинулся в путь-дорогу.

Глава IV. Встреча Белобородова и Пугачева. Крепость Троицкая. Девочка Акулечка. Подполковник Михельсон

1

8 мая генерал Фрейман занял Авзяно-Петровский завод, в котором так недавно побывал со своей толпой Емельян Иванович.

Приказчиков, «как людей весьма усердных», Фрейман отправил в Табынск, чтоб «их здесь не убили», а двух человек, верных Пугачеву, повесил. Многие работные люди бежали в горы.

Дядя Митяй сплоховал, был пойман и тоже повешен. Пред смертью вспоминал старца праведного Мартына, надеясь в простоте душевной повстречаться с ним на том свете.

Фрейман направился через Белорецкий завод к Верхне-Яицкой крепости, полагая найти там Пугачева. Где находятся отряды Деколонга и Михельсона, Фрейман не знал, лазутчики давали ему ложные, сбивчивые сведения, он шел вслепую.

Тем временем выступившему из Уфы Михельсону предстояли в пути большие затруднения. Для переправы через разлившиеся реки ему пришлось делать паромы, строить снесенные водой мосты. Согнанные из деревень крестьяне, проработав день, ночью убегали. Возле деревни Юрал Михельсон наткнулся на полуторатысячную толпу башкирцев под водительством Салавата. Башкирцы были расположены несколькими отдельными кучками. Михельсон приказал майорам Харину и Тютчеву атаковать их левый фланг, а сам устремился против правого фланга. О происшедшем бое Михельсон доносил:

> «Мы нашли такое сопротивление, какого не ожидали. Злодеи, не уважая нашу атаку, прямо пошли навстречу. Однако, помощью божиею, по немалом от них сопротивлении, они были обращены в бег».

Куда же идти Михельсону дальше? По сведениям, которые никак нельзя было проверить, Пугачев покинул Белорецкий завод и направился к Магнитной крепости, Белобородов ушел с Саткинского завода в неизвестном направлении, в окрестностях Симского завода бродят толпы башкирцев со старшиной Аникой – они шли на помощь Салавату, но опоздали. Михельсон разбил Анику с его толпой, привел эту местность в повиновение и двинулся к Катавскому заводу, окруженному мятежниками. Он их опрокинул и рассеял, атамана Сидора Башина в «страх другим» повесил, а многочисленных пленных распустил по домам, обещая полное помилование всякому, кто явится к нему с повинной.

На подмогу Пугачеву спешил разбитый под Екатеринбургом атаман Иван Наумыч Белобородов. Не покладая рук, собирал атаман людскую силу, всюду рассылал приказы, направлял башкирских и мещерятских старшин с призывом к их сородичам, давая указания собираться людям к Саткинскому заводу. Сотнику Коновалову Белобородов от 16 апреля 1774 года выдал ордер:

> «Наперед всего, данным от меня, тебе, Коновалову, повелением велено собрать разбегшихся и прочих казаков, явиться к соединению в один корпус. Накрепко подтверждаю – с имеющейся при тебе командою следуй ко мне, Белобородову, в Саткинский завод для соединения, ибо батюшка наш, великий государь Петр Федорович, изволит следовать в здешние края».

Отдавая такие приказы, Белобородов с точностью не знал, где в данное время Пугачев. О месте пребывания самозванца не знали и екатерининские военачальники; Михельсон

полагал, что Пугачев на Авзяно-Петровском заводе, князь Щербатов имел сведения, что он с башкирцами уходит за Урал, в Сибирь. Трусливый генерал Деколонг доносил, что «злодей свои отважные и отчаянные силы могутно устремляет» под Челябу на его, Деколонговы, войска.

И снова – уже который раз – в правительственном лагере неразбериха, толчея, перетасовка отрядов.

Князь Щербатов из Оренбурга отправил башкирцам увещание; он, подобно Михельсону, обещал полное прощение всем бунтарям, кои оставят самозванца и придут в повиновение правительству. В ответ на это башкирцы призадумались. Они собирались на совещание, и наиболее робкие из них стали высказывать желание покориться.

Но вот появились посланцы Пугачева, они привезли с собой башкирца, изуродованного комендантом Карагайской крепости полковником Фоком. Пойманному пленнику Фок приказал отрезать нос, уши и на правой руке все пальцы.

– Вот, братья башкирцы, присмотритесь к своему сородичу! – бросал в толпу новый пугачевский повытчик Григорий Туманов.

Изувеченный, с непомерной печалью в глазах, показывал окружившим его беспалую, еще плохо поджившую культяпку, стараясь левой ладонью стыдливо укрыгть страшное, как у Хлопуши, лицо свое. Он ничего не говорил и не обливался слезами, но небритый, в черной щетине, подбородок его дрожал, и широкая грудь надсадно дышала.

Чернобородый, приземистый Григорий Туманов, окинув большими глазами толпу, достал из сумки бумажку, вздернул вверх голову и вновь заговорил:

– А вот прислушайтесь, братья башкирцы, что пишет змей Ступишин, комендант Верхне-Яицкой дистанции… «Башкирцы! Я знаю все, что вы замышляете. Ежели до меня дойдет хоть какой слух, что вы, воры и шельмы, ждете к себе вора Емельку Пугачева, величающего себя царем, и всей его сволочи корм, и скот, и стрелы с оружием припасаете, я пойду на вас с пушками, тогда не ждите от меня пощады: буду вас казнить, буду вешать за ноги и за ребра, дома ваши, хлеб и сено подожгу, а скот истреблю. Слышите ли? Если слышите, то бойтесь!»[11]

Рядом с Тумановым сидел на коне толмач Идорка. Он резким голосом переводил прочитанное и в крепких местах угрожающе потрясал плеткой. Толпа башкирцев шумела.

«Возле Верхне-Яицкой, – продолжал Туманов, – я, комендант Ступишин, поймал башкирца Мусина с воровскими от разбойника Пугачева письмами. Письма я велел принародно под барабанный бой сжечь, а тому вору-башкирцу приказал отрезать нос, уши и к вам, ворам, с сим листом, от меня посылаю!..»

Толпа в ответ шумела еще громче.

– Не с вами ли оный Мусин? – вопросил Туманов.

– Нет, бачка-начальник! – закричали башкирцы. – Зеутфундин Мусин помрил, горлом себе резал, сапсем кончал. Срамно был свой наслег показаться, свой дюрта.

Многие сотни башкирцев, как по уговору, вскочили в седла.

– Веди нас к бачке-осударю!.. Вот ужо Салават-батырь придет, вот ужо-ужо Юлай придет! Постоим за бачку-осударя! Стрелы наши метки, кони, как ветер, быстры. Степь застонет от их топота, и все супротивники будут раздавлены, как ползучие гады…

И уже не слушали Григория Туманова, только вопили:

– Веди!

Так было во многих скрытных местах, во многих селениях. И вскоре почти вся Башкирия, раздраженная жестокостями разных Ступишиных с Фоками, потянулась к Емельяну Иванычу. Так тянется к теплому солнцу освобожденная от ледяного холода весенняя степь.

---

[11] Это воззвание от 4 апреля 1774 года, очень многословное, здесь дается в выдержках. – *В.Ш.*

К началу мая скопилось у Пугачева до пяти тысяч народу. И вот он выступил по направлению к Верхне-Яицкой дистанции, туда, где его меньше всего ожидали. Из четырех крепостей этой дистанции самая большая была Верхне-Яицкая. Пугачев прошел мимо: он знал, что всякий его неуспех мог гибельно отразиться на его деле, тогда как удача в овладении той или иной крепостью могла склонить на его сторону даже и то население, которое находилось в положении выжидательном.

И Пугачев, подойдя к более слабой – Магнитной крепости, окружил ее. Тем временем Военная коллегия послала строгий указ Белобородову, в коем указе «наистрожайше определяется с получением сего тот самый час выступить и секурсировать под Магнитную к его величеству в армию с имеющейся при тебе артиллериею».

Комендант крепости Магнитной, капитан Тихановский, при содействии гарнизона и жителей, успешно до вечера отбивал все атаки наступавших.

У пугачевцев было мало пушек. В последнем штурме вел войска на приступ сам Пугачев.

– Грудью, грудью, детушки!.. Эх, тряхни!.. – подбадривал он свою рать.

В разгаре боя он был ранен картечью в левую руку. Его отвели в кибитку. Встревоженный Андрей Горбатов осмотрел руку – кость цела – и, как умел, перевязал ее.

С наступлением ночи, разделившись на пять отрядов, пугачевцы близко прокрались к деревянным заплотам. Во тьме они зорко следили, как зажженный вражеский фитиль «подносился к выстрелу», и разом падали ниц. Затем, когда пушки выпускали снаряд, осаждающие, вскочив, мчались к заплотам, дружным натиском быстро ломали их. И к утру, после упорного боя, ворвались в крепость.

Капитан Тихановский с женой и жена убитого поручика были повешены.

На следующее утро, а именно 8 мая, в стан явился Белобородов с отрядом в шестьсот человек, главным образом заводских крестьян. Вскоре он был позван к Пугачеву в его обширную кибитку (юрту) белой кошмы, разукрашенной узорами из разноцветного сафьяна. Пол кибитки и тахта – в дорогих коврах. Белобородов с душевным трепетом подошел к кибитке. Он знал, что на него были царю доносы, что царь на него в гневе.

Дежурный Давилин при входе отобрал от Белобородова все оружие, оставив ему лишь палку с завитком, на которую тот опирался. Белобородов еще более оробел.

В кибитке, куда он с яркого света вошел, дремал полусумрак, мешавший прибывшему рассмотреть выражение государева лица. Он сразу же опустился перед Пугачевым на колени и уткнулся лбом в ковер. С левой рукой на перевязи, Емельян Иваныч сидел в кожаном кресле. Невзирая на вчерашнее ранение, он был бодр и весел – крепость взята с боем, а Белобородов привел шесть сотен молодцов.

– Встань, Иван Наумыч, – обратился он к Белобородову и насупил брови. – Скажи мне, – отделиться ты от меня хотел, чтобы своевольничать. Не гоже это!

– Облыжно оклеветали меня, ваше величество, – опираясь на палку, поднялся Белобородов. – Как служил вам верой и правдой, так и по гроб служить намерение твердое имею. А это я знаю, кто это, – Шибаев[12], казак, клеплет на меня.

– Верно, он… Стало, ты не супротивник мне? Не злоумышлял против меня, государя своего?

– Ваше величество! – ударил Белобородов кулаком себя в грудь. – Я весь перед вами. Верьте мне! И дозвольте молвить…

– Сказывай, Иван Наумыч. Эй, Давилин, подай-кось сюда какое не то стуло! Ну вот, садись, атаман, да сказывай.

[12] Фамилия, созвучная с фамилией М.Г. Шигаева. – *В.Ш.*

Ободренный милостивым обхождением, Иван Наумыч сел, выпрямился и, опираясь на клюшку, стал кратко, но толково докладывать о всех делах своих. Пугачев попутно ставил ему вопросы, Белобородов по-умному отвечал на них. Беседа тянулась долго. И вот она идет к концу.

– В бытность же мою на Саткинском заводе прислан от вашего величества в помощь мне атаман из бывших унтер-офицеров, дворянин Михайло Голев. А как я увидел, что тот Голев стал делать непорядки и пьянствовать, то, сковав его, отослал обратно к вам.

– Голев Михайло под Татищевой убит, – вздохнув, молвил Пугачев.

– Царство ему небесное, – перекрестился Белобородов. – А когда пришел я в Нижние Киги, явились ко мне из вашей армии два казака да атаман. Казак по тайности донес мне, что они все трое отложились от вас и прибыли ко мне с увещательным князя Щербатова указом отвращать людей от вашего величества. Тех двух казаков да атамана я велел повеешь.

– Гарно, – сказал Пугачев, и суровые складки над его переносицей распрямились.

– Вскорости после того прибыл от вас илецкий казак, есаул Иван Шибаев, он привез приказ двигаться мне под Магнитную крепость, а сам уехал обратно. Меня подзадержало с выступлением разлитие рек, все дороги рухнули. Довелось ждать. И вот получаю я от жителей Шайтанского завода известие, что Иван Шибаев в оном заводе хозяйский дом разграбил, у жителей лошадей и седла отобрал, почему я и послал следом за ним команду в сто человек поймать его и заковать. Прибыв и сам туда, я уведомился, что Иван Шибаев скован, что он послал на меня вашему величеству рапорт, будто бы я хочу-де от вас отложиться. Туг я в гнев вошел, огрел вот этой самой клюшкой Шибаева Ваньку по морде и под караулом препроводил его к вам, батюшка.

Пугачев встал, обнял правой здоровой рукой поднявшегося Белобородова и по-братски поцеловал его в щеку.

– Будь и впредь верен мне, Иван Наумыч, спасибо тебе за службу твою.

Он вынул из кармана большую медаль – рубль Петра I с припаянным ушком и красным бантом – и, наморщив нос, приколол ее на грудь Белобородова. Поймав царскую руку, тот облобызал ее.

– Давилин! – позвал Пугачев. – Подай нам с атаманом по чарке сладкой водки.

По выходе Белобородова из кибитки к нему просунулся Федор Чумаков и, оглаживая широкую, как новый веник, бороду, тайным шепотом спросил его:

– Узнал ли ты государя? Ведь в Питере видывал его, поди, не раз.

Щеки Белобородова вспыхнули, сердце защемило; помедля, он твердым голосом сказал:

– Узнал.

– Гм, – неопределенно гукнул Чумаков и подергал себя за нос.

…И – радость за радостью. Явились в стан без вести пропавшие: Овчинников, Перфильев, Пустобаев – старые верные друзья, испытанные соратники! Овчинников привел с собой триста яицких казаков да двести заводских работных крестьян.

Встреча была самая душевная. Емельян Иваныч рад был на особицу. Еще бы! Его боевой любимый атаман Овчинников вернулся из опасного похода цел-невредим. Все трое по очереди валились Пугачеву в ноги, спрашивали наперебой: «Рученька-то, рученька-то у тя што?» Богатырь Пустобаев, уже успевший «клюнуть», обливался слезами. Так встречаются долго не видавшиеся любящие братья или отец с дорогими его сердцу сынами. Тут уж, хочешь не хочешь, надо было батюшку угостить и самим угоститься.

Под звездным уральским небом песни гремели во всю ночь, раскатистое эхо раздольно гуляло по горам, пламенное созвездие огромных костров – здесь сухостоя сколько хочешь – огненными взмахами опаляло нависшую над землею плотную тьму. Пой, казак, полным голосом боевую песню, швыряй во все концы земли свой победный зык! Только бойся дре-

мать, удалой казак, чутко вслушивайся в мертвенные дали: враг, как сова в ночи, крадучись, ищет тебя всюду.

Наутро был смотр пришедшим людям и торжественный прием башкирских и татарских старшин. Все они были позваны к кибитке Пугачева. Он стоял, окруженный свитой, знаменами. На нем парчовая бекеша троеклином, красные сапоги, золотая, из кованой парчи, шапка. Он обошелся со старшинами ласково, разрешил им, по их неотступному хотенью, рушить и жечь дотла крепости, чтоб не давать царицыным войскам в них обосноваться.

– Объявите верным моим башкирцам и сами ведайте, – взволнованно сказал он, – вся Башкирь будет отдана вам, яко хозяевам. И ни губернаторов, ни иного прочего начальства у вас не станет. И будете вы управляться сами собой, чрез выборных своих людей, коим довериться можно. Будете моего величества верными подданными казаками, и весь военный распорядок у вас насажу казацкий, без солдатчины, без рекрутчины. Довольны ли, детушки?

Старшины упали Пугачеву в ноги, а толпа башкирцев закричала:

– Урра-аа!! Само якши есть! Пасибо, бачка-осударь!..

Находившийся возле Пугачева Горбатов заметил ему.

– Мудрым словом, государь, одарили вы башкирский народ.

– С народом, ваше благородие, разговор надо вести умеючи, – приняв осанистый вид, откликнулся Пугачев. – А то будешь сладок – разлижут, будешь горек – расплюют.

Горбатов посмотрел на Пугачева с чувством большого уважения.

Белобородов и донесший на него илецкий казак Шибаев помирились. Пугачев обоих содружников своих произвел в полковники. Белобородову дал он четыреста заводских крестьян и полсотни илецких казаков.

Забрав в Магнитной четыре пушки, Пугачев 19 мая овладел довольно сильной Троицкой крепостью[13]. Крепость упорно сопротивлялась, но пугачевцы все-таки взяли ее после трех отчаянных штурмов. Комендант крепости бригадир Фейервар и четыре офицера были убиты, супротивные солдаты и жители переколоты копьями. Жену Фейервара башкирцы привязали к лошадиному хвосту и таскали по улицам. Жилища состоятельных подвергались ограблению. Торговые лавки оренбургского купца Крестовникова были расхищены, а его салотопенный и кожевенный заводы сожжены.

Пугачев недолго оставался в крепости, он стал лагерем в полутора верстах от нее. Настигающий его Деколонг доносил о ту пору Рейнсдорпу: «Шельма самозванец проклятые свои силы имеет конные и несказанную взял злобу по причине полученного себе в руку блесирования[14], так скоро свой марш расположил, что угнаться за ним не можно».

Сады в цвету. Луга позеленели. Уже степной ковыль – краса весны – распускает свои пышные кивера. Всюду неумолкаемый бубенчик – песня жаворонков. Воздух гудит, трепещет от их трелей. И сердца собравшихся у костров людей охвачены волнением свободы. Весна, солнце, бачка-осударь, воля! Никого нет над ними, над башкирцами, кроме царя и солнца!

А бачке-осударю, а Юлаю с Салаватом честь и прославление из края в край!

Озорные суслики, пересвистываясь, приподнимаются на дыбки, греют на солнце свои пестрые грудки, с любопытством осматривают ожившую степь. Хохлатые чибисы перепархивают с места на место и тоскливо стонут; неведомо откуда пришли какие-то, пригнали лошадей, и вот их гнезда с малыми птенцами обречены на гибель. И обиженные птицы по-своему плачут, по-своему жалуются царю жизни – солнцу.

Лошади пасутся на густой траве, молодые кобылицы сильны, их сосцы набухли живительной влагой, турсуки с крепким кумысом переходят из рук в руки.

---

[13] В 100 верстах к юго-востоку от Челябинска.

[14] Ранения.

У дальнего костра семеро заводских крестьян. Тюмин варит кашу. Мажаров с Ильиным пекут по башкирскому способу, на раскаленных камнях, житные лепешки. К костру подходит рослый белобрысый парень Дементий Верхоланцев, секретарь Белобородова. Он любопытен, как суслик, бродит от костра к костру, выщупывает настроение людишек.

– Мир честной компании!

– Спаси бог, присаживайся. Каша живчиком упреет. Ложка есть?

– По горло сыт, – отвечает он, садится и раскуривает от уголька трубку. Сапоги у него начищены, рубаха новая, синяя, с кумачовыми ластовками, ворот высокий, на горловине семь пуговок. Опытным глазом он приглядывается к крестьянам и сразу определяет: заводские. У одних босые ноги в чирьях, суставы пальцев на руках и на ногах опухли – эти люди трудились в подземных шахтах. У других преждевременно вылезли волосы, гноящиеся воспаленные глаза – эти работали у домниц, выпускали чугун. Вот тот, сутулый, кривоплечий, надрывался у кричного молота, а эти двое с неотмываемыми, изъеденными копотью и угольной пылью исхудалыми лицами – углежоги.

– С каких да каких заводов вы, старатели? – спросил Верхоланцев крестьян.

– С Златоустовского, желанный, все семеро оттоль, с Златоустовского железно-чугунного… А ты, чистяк такой, откуль?

– Я с Билимбаевского.

– Ну, знаем. Из писарей, поди, сам-то? Форсистай этакой, гладкой.

Еще перекинулись кой-какими словами, и крестьяне повели прерванный разговор.

– Вот я и толкую, – заговорил Тюмин, – он жидковолосый и безбровый, глаза добрые, – пошто беззащитных людей мучать? Я воевать воюю, в драчке кого хочешь пристрелю, а чтобы беззащитных увечить, в том моего согласья нет. Совесть воспрещает! – выкрикнул он и сорвал с пламени котелок с кашей.

– Не совесть, а душа, – поправил его седоусый Мажаров с острыми слезящимися глазами.

– А я тебе говорю: не душа, а совесть воспрещает разбойничать! – осердился Тюмин.

Верхоланцев сказал:

– Я самолично видел, как комендантшу Фейервар то ли пьяные башкирцы, то ли калмыки к лошадиному хвосту привязали да по улицам волокли…

– Я тоже видал, – сказал Тюмин, бросая в кашу масло. – А царь-то батюшка, дозрив оное убийство, зараз запретил. А калмыка-то, мучителя-то, кажись, повелел сказнить…

– У батюшки недолго с петелькой спознаться, – проговорил Мажаров, – батюшка завсегда справедлив.

– Он, когда осердится, лютует, сам не свой, а несчастный да обиженный за всяк час у него заступленье сыщет, – сказал Тюмин. Он постучал ложкой о котелок и пригласил всех к каше. – Я ведь с батюшкой-то сызначала хожу. И вот, как-то по зиме, плетусь Бердой – мимо государева жительства. Гляжу – брыластый этакий парень, казачина, у костра рубаху сушит, а сам голышом по зимнему времю. «Неужели на морозе-то взопрел?» – спрашиваю его. А он мне: «Нет, говорит, не на морозе, а с батюшкой чижолый разговор имел…» Вот каков батюшка-то наш. Дай бог его царскому величеству здравствовать…

Семь деревянных ложек мелькали быстро. Проголодавшиеся заводские крестьяне глотали кашу не жевавши.

– Эвот у того дальнего костра, – сказал Верхоланцев, – слышал я, будто бы матушка Екатерина от престола отрекнулась.

– Истина, истина это! – воскликнул Тюмин. – Она, царица-т, на покой ушла. На покой, на покой, уж это верно. А Павел Петрович со своим дядей Жоржем десять полков на помощь батюшке ведет.

– Да уж полно, так ли? – и глаза Верхоланцева вспыхнули от любопытства.

– И не сумневайся, и не сумневайся! – замахал на него ложкой восторженный Тюмин.

Вскоре Верхоланцев чинил подробный доклад полковнику Белобородову о том, чем живет, чем дышит его, белобородовская, армия.

В конце доклада Верхоланцев с особой торжественностью, задыхаясь от восторга, – вот-то обрадует полковника! – сообщил о том, что ныне-де предвидится скорая победа государя императора, что вот-вот вся Россия покорится ему, ибо царица передала престол сыну своему, а сын идет-де с войском восстановить поруганные права своего великого родителя.

Белобородов, слушая его, сначала улыбнулся, затем нахмурился и бросил:

– А и дурак же ты, братец мой…

Верхоланцев крякнул, одернул рубаху и выпучил на полковника удивленные глаза.

Ночь в лагере под Троицкой крепостью переспали благополучно. А чуть зорька в небе, примчались на взмыленных конях дозорные.

– Вставайте, вставайте! – с шумом, с криком скакали они по мертвецки спавшему лагерю.

Засвистали медные дудки, забили из конца в конец трещотки. Сонный Ермилка, надув толстенные щеки, со всех сил наигрывал в начищенную трубу, Чумаков пальнул из сторожевой пушки – по степи раскатистые гулы пошли, суслики испуганно нырнули в норы, из кибитки выскочил в одном бельишке встрепанный, нечесаный Емельян Иваныч.

21 мая, в семь утра, генерал Деколонг, сделав со своим сибирским корпусом трудный марш, подошел к пугачевскому лагерю вплотную.

Чумаков с Варсонофием Перешиби-Нос и с канонирами из заводских мастеров открыли по врагу дружный огонь из пушек. А Пугачев с Овчинниковым и Белобородовым атаковали Деколонга всеми своими силами. Вначале атака была удачна: Деколонг пятился, но вскоре в его крупном боевом отряде замешательство от первого удара кончилось. Перестроив ряды и подтянув резервы, Деколонг перешел в наступление. После упорного боя нестройные толпы пугачевцев дрогнули. Первыми поскакали в разные стороны башкирцы – их было около двух тысяч. А затем, будучи не в состоянии держаться без их помощи, и остальные силы армии – казаки и крестьяне обратились в бегство.

Пугачев был узнан по перевязанной руке и по окружавшей его на хороших конях свите. Два офицера – Беницкий и Борисов – с отрядом драгун бросились его преследовать… И вот он, вот он, Пугачев! Беницкий был от него в каких-нибудь пятнадцати шагах, уже рослый конь Пугачева швырял копытами в лицо офицеру комьями земли с зеленой травкой… Но лошади драгун истомились, конь же Пугачева был свеж, рысист… взмах плетки, еще, еще, – и Емельян Иваныч скрылся в густом лесу. Лес укрыл и спас от пленения не одну тысячу пеших и всадников.

Подобно дробящимся до бесконечности шарикам ртути, все пугачевцы рассыпались в разные стороны. И когда будет можно, они снова стекутся к «батюшке». Они найдут его, куда бы он ни скрылся.

В этой несчастной битве потери Пугачева были огромны. Майоры Гагрин и Жолобов, преследовавшие пугачевцев, впоследствии доносили, что «лежащих мошеннических трупов на четырех с лишком верстах перечесть было невозможно». В бою погибли новый секретарь Военной коллегии Иван Шундеев и новый повытчик Григорий Туманов. На глазах Пугачева оба они с кучкой дружных заводских крестьян яростно бились с врагами. Пугачев впоследствии долго печалился об этой потере. Он давно наблюдал, что утрата среди заводских крестьян всегда наибольшая. Жалко, очень жалко их, слава им! Они либо бьются до смерти, либо, лишившись последних сил, попадают в пленение. Они, эти крестьяне с уральских заводов, да еще вот природные казаки – первый оплот его, Пугачева, армии. Только одна беда – маловато их.

Потери Пугачева под Троицкой крепостью – двадцать восемь пушек, около четырех тысяч убитых и раненых.

Печальный, но все еще твердый духом Пугачев неизвестно куда скрылся. Екатерининские воинские части надолго потеряли его из виду.

2

Леса. Хвойные леса: ель, сосна, пихта, кедровник. Ой, солнце, как оно ласково пригревает и какой духмяный, смолистый воздух течет по узкой лесной дороге!

Меж высокими стенами густолесья едет горстка всадников. Это Пугачев со своими немногими близкими, которым удалось скрыться из-под Троицкой крепости. У Емельяна Иваныча нет больше армии. Она разбежалась, рассыпалась по непролазным лесам и потеряла след своего владыки. Пугачев один. Возле него нет ныне армии. И хвойные леса сопровождают его загадочным шепотом: то ли удачу сулят ему, то ли пророчат конец его грозным деяниям, предрекают всякие бедствия. Ветру нет, а лес шумит-пошумливает шелковым шелестом. Ветру нет, и нет возле «батюшки» армии. Армии нет!

Навстречу Пугачеву попадаются захудалые деревеньки в десяток-другой домков. Бродят в перелесках коровы и овцы, при них то старуха с хворостиной, то пузатенький на тонких ножках парнишка с кнутом – пастух.

Вот, завидя едущих рысью всадников, малыш выхватил из-за пояса самодельный берестяной рожок и начинает наигрывать заунывную. Он перенял эту песню от родимого дедушки. Его рожок выговаривает трогательным человечьим голосом, жалуется на что-то, о чем-то неутешно плачет без слез. Лесная русская песня бередит душу всадников, они задерживают коней возле мальчика и тоскующими глазами улыбаются ему. Эх, песня, русская заунывная песня! Играют тебя и на разгульных свадьбах и на печальных похоронах, когда правят тризну… Нет у Пугачева армии. Подольше послушать бы тебя, дивная песня, погрустить бы возле тебя, поднять с души всю горечь…

Пугачев протягивает пастушку пятак, все благодарят его за добрую игру и – дальше, дальше…

А вот движется навстречу малая девчоночка. Она издали похожа на крохотную старушку-карлицу. В руках – батог, через плечо холщовая торба под куски.

– Здравствуй, девочка! – приветливо крикнул Пугачев с седла, и всадники остановились.

– Здорово, дяденьки! – Девочка тоже стала среди дороги и воззрилась на всадников. Она – щупленький заморыш, ноги в потрепанных лапотках, и руки худы, личико бледное, вытянутое, темно-русые волосы растрепались, сзади косичка. Глаза большие, серые, они оживляют лицо, делают его привлекательным. В разговоре она сдвигает брови, тогда над переносицей появляется какая-то не по возрасту страдальческая складка, и детское личико приобретает выражение большой заботы.

– Куда ты летишь, пчелка? – спросил Пугачев.

– До царя лечу, – охотно и доверчиво ответил ребенок. – Только не ведаю, в коей стороне царь-то живет. Велели мне до царя идти, правды-матки искать… А вы кто такие, дяденьки?

– Вот я – царь. А со мной атаманы да полковники…

– Нет, уж ты, дяденька, не загибай… Врачек-то я слыхала на своем веку много…

– Ой, да век же твой долог… Ха-ха… – засмеялись атаманы.

– А пошто же ты за царя-то не хочешь меня признать? – улыбаясь, сказал Пугачев и подбоченился; он был в простой казацкой сряде, без ленты, без звезды.

– Да нетто цари такие? – проговорила девочка. – На царях злат венец и одежина из бархату… Ведь, поди, я знаю сказы-то… И про Бову-королевича знаю. Вот подай грошик, либо хлебца кусок, и тебе сказку расскажу. Дяденьки, миленькие, где же мне царя-то искать? – и девочка, крестообразно сложив на груди тонкие руки, низко поклонилась всадникам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.